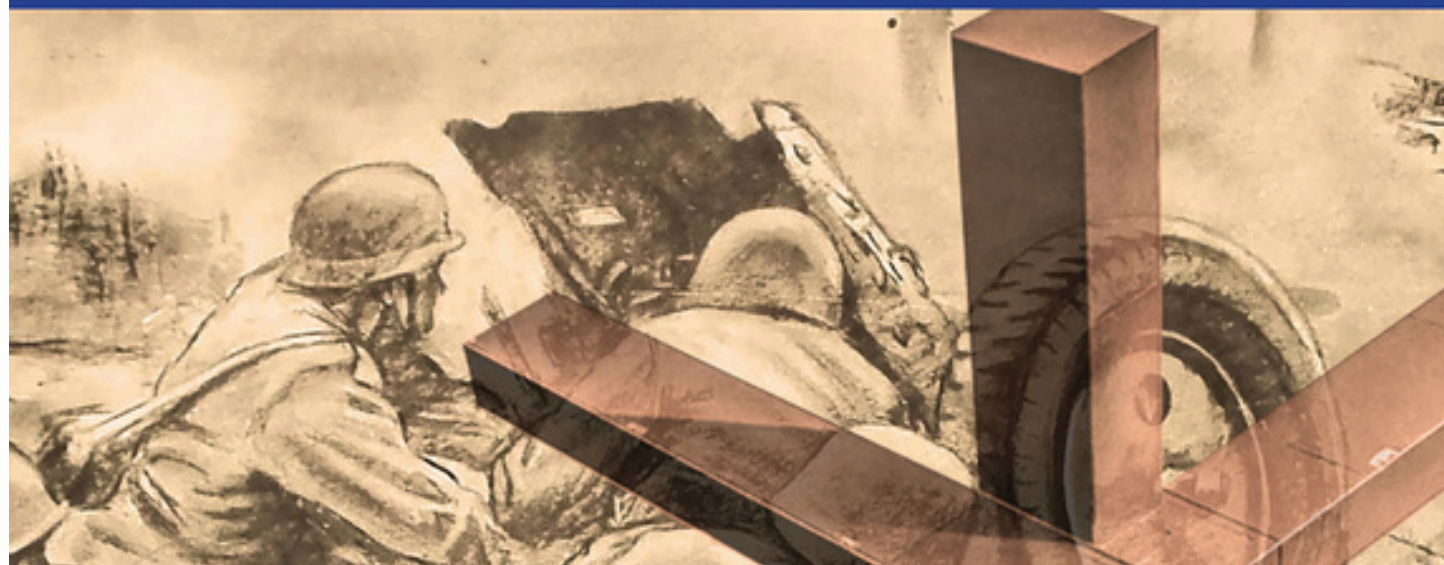


Константин Симонов

Живые и мёртвые

ФТМ



Живые и мертвые

Константин Симонов

Живые и мертвые

«ФТМ»

1955-1959

Симонов К. М.

Живые и мертвые / К. М. Симонов — «ФТМ»,
1955-1959 — (Живые и мертвые)

ISBN 978-5-4467-0452-1

Роман К. М. Симонова «Живые и мертвые» — одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне.

ISBN 978-5-4467-0452-1

© Симонов К. М., 1955-1959

© ФТМ, 1955-1959

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	24
Глава третья	39
Глава четвертая	52
Глава пятая	61
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Константин Симонов

Живые и мертвые

Глава первая

Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.

О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком при вокзальном пятачке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.

Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.

Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.

К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.

Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко к границе, и авиация, самое главное – авиация... Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать...» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.

Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.

– Что в порядке?

– Я говорю, что с билетами все в порядке, – повторил Синцов.

– Хорошо, – равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.

Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.

Со свойственной ей прямоотой она сама вдруг сказала ему об этом.

– А что обо мне думать? – сказал Синцов. – И вообще все будет в порядке.

Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.

– Брось болтать! – сказала она. – Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? – У нее даже губы задрожали от злости. – Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! – повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.

Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.

Вокруг говорили только об одном – о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.

Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:

– Выйдем, погуляем...

Вышли из вагона, и она взяла его под руку.

– Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.

– Уже решила?

– Да.

– А если придется перерешить?

Она молча покачала головой.

Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса – как найти Таню и идти или не идти в армию – надо разделить...

– Не буду я их делить! – прервала его Маша.

Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе с Таней уж конечно постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное – ждать их в Москве.

– Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя! Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.

Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.

Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.

– Сейчас я поеду на вокзал, – сказал Синцов. – Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.

Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.

– Подожди, сядь на минуту, – остановила она мужа. – Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?

Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию – в чем он сомневается, – неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?

Маша слушала, все больше и больше бледнея.

– А как же ты не понимаешь, – вдруг закричала она, – как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?

– Как «только о себе»? – ошеломленно спросил Синцов.

Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.

– И мне тоже. Обещаешь?

Разозленный ее упрямством, он наконец перестал шадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора, наконец, трезво смотреть на вещи.

– Хорошо, – сказала Маша, – если не посадят, значит, не посадят, но ты постарайся! Я тебе верю. Да?

– Да, – угрюмо согласился он.

И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.

Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск, – прямо до Гродно поезда нет, – и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.

Маша ничего не ответила.

– Что ты молчишь? – крикнул он в трубку.

– Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.

– Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.

– Хорошо, переложу.

– Я сейчас попробую пробиться в политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.

– А я не скучаю, – все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.

Маша перекладывала вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.

Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Синцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Польшина. Этот Польшин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери.

Маша тогда сказала Польшину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему в Главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила.

– Полковник Польшин слушает! – сказал сердитый голос.

– Здравствуйте! Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть.

Но Польшин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом наконец понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду.

Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Польшин, но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Польшина, но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант.

– Вам товарища полковника Польшина? – спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат, он уехал десять минут назад и просил подождать. Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут.

– А когда он приедет? – Маша вспомнила, что Синцов уже скоро должен вернуться домой. Сержант только пожал плечами.

Маша прождала два часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей «эмочки» вылез Польшин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменялось и казалось постаревшим и озабоченным.

Чувствовалось, что он считает каждую секунду.

– Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран... Что у вас стряслось?

Маша как могла коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом, на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами.

– Что ж, – сказал Польшин, выслушав ее. – Думаю, муж ваш прав: семьи из тех мест по возможности эвакуируют. В том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню. А ехать туда сейчас вам не ко времени.

– И все-таки очень прошу вас помочь! – упрямо сказала Маша.

Польшин сердито сложил руки на груди.

– Слушайте, чего вы просите, куда вы лезете, извините за выражение! Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?

– Нет.

– А не можете, так слушайте тех, кто понимает!

Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно: ведь у нее там дочь и мать.

– В общем, там положение, конечно, прояснится, – неуклюже поправился он. – И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! Хорошо?

Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.

...Придя домой и не застав Маши, Синцов не знал, что и думать. Хоть бы оставила записку! Машин голос по телефону показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает!

В политуправлении ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам: в районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске.

До сих пор и собственная, не выходившая из головы тревога за дочь, и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Синцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить. Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита.

– Кто это? Мама? – донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева.

– Нет, это я, Синцов.

– А я думал, ты уже воюешь.

– Еду сегодня.

– А где твои? Где мать?

Синцов сказал все, как было.

– Да-а, невеселые у вас дела! – еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце шеститысячестерстного провода. – По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье! Как без рук!

– Разъединяю, разъединяю! Ваше время кончилось! – как дятел, задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все: и голоса и жужжание, – осталась одна тишина.

Маша вошла молча, опустив голову. Синцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядел на стенные часы: до ухода из дома оставался всего час.

Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо.

– Не обижайся! Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой.

– Ну и что тебе посоветовали?

– Ответили, что пока нельзя.

– Ах, Маша, Маша! – только и сказал ей Синцов.

Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной.

Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным; она вспомнила слова Польшина: «Под Гродно сейчас такая каша!..» – вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Синцова.

– Что ты? Ты плачешь? – спросил Синцов.

Но она не плакала. Просто ей стало не по себе, и она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут.

Оттого, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчея и беспорядок.

Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет тот поезд, на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом – что пойдет только под утро, а сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через пять минут.

Провожających почему-то не пускали на перрон, в дверях сразу же образовалась давка, и Маша и Синцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой – в другой у него был чемодан, – Синцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях.

Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой, в два человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Синцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Синцова: он вылез из одного вагона и шел к другому.

– Ваня! – закричала Маша, но он не услышал и не повернулся.

– Ваня! – еще громче крикнула она, схватясь за решетку.

Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны и, только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке.

– Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?

– Не знаю, – сказал он. – Все время говорят, что с минуты на минуту.

Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял в свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская.

Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил.

– Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь? – спохватилась Маша.

– А-а!.. – Синцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. – Сяду на подножку!

Они были заняты надвигающейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать.

– Я уверен, что с нашими все в порядке.

– Дай Бог!

– Может быть, даже встречусь с ними на какой-нибудь станции: я – туда, а они – сюда!

– Ах, если бы так!..

– Я, как приеду, сразу же напишу тебе.

– Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму – и все.

– Нет, я непременно напишу. Ты жди письма...

– Еще бы!

– Но и ты мне пиши, хорошо?

– Конечно!

Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий...

– Трогаемся! Кто едет, садитесь! – закричал кто-то за спиной Синцова.

Синцов, в последний раз стиснув Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку.

И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Синцова заслонили от Маши. Ей то казалось издали, что это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно; замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди.

Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмоскowie и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Синцов, и в других вагонах большую часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого Западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга.

Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальонами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно, уже дравшихся, частей.

Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпускники. В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке.

Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла: немцы бомбили Оршу-товарную.

Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Синцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж, – думал он, – в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если б им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Синцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому!

Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотацился до Борисова, и комендант станции, кривясь, как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пойдет: путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками.

В Борисове было пыльно и душно, над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины: одни – в одну, другие – в другую сторону; у госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые.

Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был комендант города, и Синцов, не бравший с собой в отпуск

оружия, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана: час назад он роздал дотла весь арсенал.

Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завскладом, Синцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта, – если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовом, в военном городке.

На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Синцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку воткнувшуюся ему в предплечье.

Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска, на нефтебазу.

Там они застали странную картину: лейтенант – начальник нефтебазы – и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горючее. Немолодой майор, с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда наконец пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор – держать под пистолетом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Синцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Синцов поехал туда.

В танковом училище все двери были распахнуты настежь – и хоть шаром покати! Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие – что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе, но не по эту сторону Борисова, а по ту.

Синцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови.

Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порет какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну – на восток от Борисова.

У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попытается отступить!

Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних, для того чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку...

Синцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле, на опушке леса распоряжалось несколько полковников. На трех грузовиках с

откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты и под командой тут же, на месте, назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Синцов тоже записался; ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня, ее все время приходилось держать в руке.

Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым, посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета, – но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился – «как для интеллигентного человека». Синцов, потоптавшись, отошел и сел в ста шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день.

Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевого мешок и, счастливо крикнув Синцову, что на первый случай получил под команду два орудия, убежал. Синцов его больше никогда не видел.

Лес был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся.

Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Синцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны; высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов.

А самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты.

«А где же наши?» – горько спрашивал себя Синцов, так же как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него.

Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три «ястребка» вернулись, строча из пулеметов.

Стоявший рядом с Синцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый наповал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в ста метрах от Синцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал: «Наконец сбили!» – но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты.

Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Синцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную в Борисове бутылку теплого сладкого сидра. До реки не было и полукилометра, но ни у Синцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили сидро, шофер лег в кабине, высунав ноги наружу, а Синцов опустился на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду!

С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в двух шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево; по всему лесу, в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины.

Шофер тоже рванулся ехать, но Синцов совершил первый за сутки поступок военного человека – приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло – исчезли и машины и люди, – он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу.

На выезде, у опушки, Синцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину, с винтовкой в руках пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным штатским, требуя документы.

– Нету у меня документов! Нету!

– Почему нету? – настаивал один из военных. – Предъяви нам документы!

– Документы вам? – крикнул задрожавшим, злым голосом человек в штатском. – А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Все Гитлера ловите! Все равно не поймаете!

Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет.

– Ну и стреляй, если совести хватит! – с отчаянным вызовом крикнул штатский.

Едва ли этот человек был диверсантом, скорее всего он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами...

Но все это Синцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать: над их головами зажглась ослепительно белая ракета. Синцов упал и, уже лежа, услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в двадцати шагах от себя только три изуродованных тела; словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то.

Вернувшись к машине, Синцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели в кабину и сделали еще несколько километров к востоку сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив двух встретившихся командиров, Синцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на семь километров назад, на новый рубеж.

Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Синцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросить, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного, просто так уж вышло: потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Синцов был тоже рад, что с ним благодаря этой машине все время связана хоть одна живая душа.

Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Синцов наконец добрался до начальства. Было серое, прохладное утро. Перед Синцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, в гимнастерке с ромбами на петлицах, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Синцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона.

Синцов подошел к нему и, обратись по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Синцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сначала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской:

– Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?

Он сказал это так, что Синцов почувствовал себя виноватым.

– Вам надо в штаб, а верней – в Политуправление фронта, там вам скажут, куда являться, – помолчав, сказал бригадный комиссар.

– А где штаб и политуправление? – с надеждой спросил Синцов.

Но бригадный комиссар только пожал плечами и заговорил с другими людьми.

Синцов отошел и, не успев подумать, что же делать дальше, наткнулся на знакомого полковника-танкиста.

– Я вас искал! Где вы болтались? – строго прикрикнул полковник. – Вон, видите там? – показал он на группу людей, сидевших на двух сваленных соснах. – Мы временную тройку создали. Вы в газете секретарем были, поможете им протоколы вести!

На сваленных соснах сидели черноволосый военюрист второго ранга, белобрысый политрук с авиационными петлицами, майор войск НКВД с малиновыми петлицами и четверо бывших у них под началом красноармейцев. Все семеро отдыхали; у ног их валялись лопаты, а рядом зияли две наполовину открытые противовоздушные щели. Синцов представился.

– Блокнот есть? – спросил военюрист.

– Есть.

– Ладно, – сказал военюрист, – сейчас дороем щели, а потом работать начнем.

Щели дорыли через час. Синцов сел на землю и спустил ноги в щель. От усталости и голода его клонило ко сну, и он сам не заметил, как задремал.

Сначала ему приснился сад, по которому шла Маша в военной форме, с петлицами военюриста, потом приснилась квартира на Усачевке; в нее вошел человек с лицом Гитлера и голосом того вчерашнего, убитого бомбой штатского, попросил, нет ли чего поесть. Синцов стал шарить на боку наган, чтобы застрелить его, но нагана на боку не было...

Он проснулся оттого, что кто-то толкнул его в щель и сам упал сверху. Щели были вырыты вовремя: высоко над соснами шли самолеты и сыпали на лес бомбы.

Весь этот день Синцов прожил как в тумане – от усталости, от голода, оттого, что почти не спал третьи сутки. Он то лез в щель, пережидая бомбежку и иногда засыпая при этом, то вылезал и грелся на солнце, свесив ноги в щель и тоже засыпая, то, когда приводили задержанных и военюрист, старший политрук и майор допрашивали их, писал протокол, положив блокнот на колено и с трудом выводя буквы.

– Да вы короче, короче, только главное! – всякий раз говорил военюрист.

А главным было то, что почти все задержанные не были ни диверсантами, ни шпионами, ни дезертирами, они просто шли откуда-то куда-то, искали кого-то или что-то и не находили, потому что все перемешалось и сдвинулось со своих мест. Попадая под обстрелы и бомбежки и наслушавшись страхов о немецких десантах и танках, некоторые из них, боясь плена, закапывали, а иногда и рвали документы.

Допросив, их обычно отпускали, одним сказав, куда примерно надо идти, а другим ничего не сказав, потому что не знали этого сами. Многие из отпущенных не хотели уходить, они боялись, что их где-нибудь снова задержат и заподозрят в дезертирстве.

Двух особенно подозрительных, задержанных в форме, но без всяких документов, так и не добившись от них внушающих доверия ответов – кто они, куда и откуда идут, – сочли диверсантами и приговорили к расстрелу. Конвоиры, ходившие их расстреливать на опушку, потом рассказывали, что один из них плакал, просил подождать, уверял, что все объяснит, а второй сначала тоже говорил, чтоб подождали, а в последнюю минуту, уже под дулом, прокричал: «Хайль Гитлер!»

Среди задержанных за день оказался сумасшедший, очень высокий молодой красноармеец, с руками и ногами богатыря и с маленькой, детской стриженной головой на длинной детской шее. Не выдержав бомбежки, он вообразил, что попал в плен к переодетым в красноармейскую форму фашистам, и, выбежав на дорогу, размахивая руками, стал кричать проносившимся над головой немецким самолетам:

– Бейте, бейте!

В его обезумевшем мозгу все перевернулось: окружающие казались немцами, а немецкие самолеты – нашими. Его с трудом скрутили.

Он стоял бледный, дрожащий и, попеременно впиваясь глазами то в военюриста, то в Синцова, кричал им:

– Зачем вы переоделись, фашисты? Все равно я вас вижу! Зачем переоделись?!

Все попытки успокоить его и объяснить, что он находится среди своих, ни к чему не привели: чем больше его уговаривали, тем сильнее в его глазах разгорался огонек безумия.

Вдруг, быстро оглянувшись, он вырвался, метнулся в сторону, схватил прислоненную к дереву винтовку Синцова и в три огромных прыжка выскочил на дорогу.

– Бегите! – закричал он тонким, взвизгивающим, сумасшедшим голосом, закричал так, что все кругом услышали этот нечеловеческий вопль. – Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь! – То нагибаясь, то выпрямляясь, он подпрыгивал на дороге, потрясая винтовкой.

Кто-то, увидев этого плясавшего на дороге и панически кричавшего человека, не долго думая, несколько раз подряд выстрелил в него из нагана, но не попал. Потом выстрелил кто-то еще и тоже не попал.

Синцов понял, что сейчас этого человека непременно убьют, не могут не убить, раз он кричит такие страшные, панические слова. Решив спасти его и не думая в эту минуту ни о чем другом, Синцов бросился к красноармейцу. Но тот, заметив подбегавшего Синцова, повернулся, перехватил винтовку и метнулся навстречу. Синцов увидел совсем близко его вылезшие из орбит, ненавидящие, безумные глаза, отпрыгнул в сторону так, что удар штыком пришелся по воздуху, и схватился обеими руками: правой – за ложе винтовки, а левой – за ствол. Теперь никто не стрелял, боясь попасть в Синцова, а он и сошедший с ума красноармеец несколько секунд яростно выкручивали друг у друга винтовку. В этой борьбе Синцов постепенно перехватил винтовку обеими руками за ложе, а красноармеец теперь держался за ствол. Синцов, собрав все силы, рванул винтовку к себе и не сразу понял, что произошло: отпустив руки, красноармеец взмахнул ими в воздухе, словно хотел схватиться за голову, и, не донеся рук до лица, ничком свалился на дорогу.

И только когда он упал, Синцов понял, что выстрел, который он слышал за секунду до этого, был не чьим-то чужим, а его собственным. Рванув винтовку, он задел спусковой крючок, и теперь у его ног на дороге лежал убитый им человек.

Что именно убитый, а не раненый, он подумал еще раньше, чем, отбросив винтовку, присел на корточки над упавшим. Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув набок стриженую детскую голову. Кровь стекала у него по шее на пыльную землю: пуля попала прямо в горло, в адамово яблоко.

– Чуть панику не устроил, гад! – сказал, останавливаясь над мертвым, рослый капитан с небритой щетиной. В руках у него был наган – это он стрелял первым. – Паникер, гад! – повторял капитан. – Собаке собачья смерть!

Но, хотя он говорил грубо и уверенно, у него у самого были собачьи, виноватые глаза. А грубостью своих слов он, кажется, хотел убедить самого себя и окружающих в том, что был прав, стреляя в этого человека.

Синцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне, – убил своего! Хотел спасти – и убил!.. Что могло быть бессмысленней и страшней этого?!

Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то, наоборот, что Борисов уже взят немцами; ближе к вечеру стали говорить, что где-то в семи километрах отсюда удалось остановить немецкие танки; впереди и правда, не приближаясь и не удаляясь, слышалась густая артиллерийская стрельба... Все эти обрывочные сведения доходили до Синцова словно в тумане – между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми допросами.

Уже на закате к Синцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник.

Полковник-танкист, по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей распоряжавшийся всеми другими, стоял на опушке леса у замаскированной ветками палатки, к кото-

рой как раз в эту минуту двое связистов тянули шнур полевого телефона. Рядом с полковником стоял батальонный комиссар в пограничной форме.

– Вы спрашивали про Политуправление фронта, – без предисловий сказал полковник-танкист остановившемуся перед ним Синцову. – Вот он знает, где Политуправление фронта, – показал он на пограничника. – Где-то под Могилевом, он туда едет, может взять вас с собой.

Пограничник молча кивнул.

– Сейчас, я только вещи возьму! Подождете три минуты?

Пограничник снова кивнул и взглянул на часы.

– Я быстро! – Синцов бегом побежал к грузовику взять лежавший там в кузове чемодан.

Но грузовика на прежнем месте не было. С минуту походяв кругом, словно исчезнувший грузовик мог вырасти из-под земли, Синцов вспомнил, что его ждут, и, махнув рукой, побежал обратно.

Пограничник стоял у палатки и нетерпеливо переминался.

– Где же ваши вещи? – спросил он.

– В машине были, куда-то уехала, не знаю... – сказал Синцов. – Поеду так.

Он был рад и тому, что час назад, когда стало вечереть, вынул из машины и накинул на плечи шинель.

– Да, – сказал пограничник и похлопал себя по тощей полевой сумке. – Мои вещи тоже все тут, даже шинели нет, в машине сгорела.

Он мог бы сказать Синцову, что у него пропало все: сгорел дом, где он жил, и погибла семья, – но он сказал только о сгоревшей шинели и добавил:

– Пошли!

Они прошли два километра по лесной дороге, до ее пересечения с Минским шоссе. Синцов все ждал, что они остановятся у одной из спрятанных под деревьями машин и поедут на ней; он пропустил мимо ушей слова батальонного комиссара про сгоревшую в машине шинель. И только когда они вышли на Минское шоссе, по которому от времени до времени проносились грузовики, и пограничник сказал: «Сейчас проголосуем до Орши», – Синцов понял, что у батальонного комиссара нет никакой машины и они будут добираться на попутной.

– Пройдите двести шагов вперед, а я стану здесь, – сказал пограничник. – Если не задержу я, задерживайте вы.

Синцов, отойдя на двести шагов, хорошо видел, как батальонный комиссар несколько раз пробовал останавливать машины. Поднимал руку и сам Синцов, но машины пролетали мимо. Наконец он увидел, как пограничник остановил грузовик и, открыв дверцу кабины, стал говорить с сидевшими внутри.

Синцов сорвался с места – бежать к машине. В эту секунду раздался рев пикирующего самолета. Синцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта. Когда, пролежав несколько секунд, он повернул голову, на дороге не было ни грузовика, ни стоявшего рядом с ним пограничника. Бомба прямым попаданием ударила в машину, на асфальте дымилась воронка, кругом лежали куски изогнутого железа, а по шоссе навстречу Синцову катилось оторванное колесо. Прокатившись еще несколько шагов, словно оно хотело подъехать к самым его ногам, колесо покачнулось и упало, скрежетнув железом по асфальту.

Синцов стоял один на Минском шоссе, мимо него неслись машины, и на душе у него была такая тоска, что только перешедшая все границы усталость помешала ему закричать или разрыдаться.

Пройдя засветло еще несколько километров, Синцов, как и тысячи других людей, проспал ту ночь в придорожной канаве, положив пилотку под голову и закрыв лицо поднятым воротником шинели. Он проспал несколько часов мертвым сном, не слыша ни рева проносив-

шихся по шоссе машин, ни грохота ночной бомбежки, и проснулся оттого, что кто-то, отогнув воротник шинели, трогал рукою его лицо.

– Нет, этот живой, – сказал голос.

Синцов открыл глаза и сел. Перед ним стояли два мальчика лет по шестнадцати, одетые в чистенькие шинельки артиллерийской спецшколы, со скрещенными золотыми пушечками на черных петлицах. Наверное, так же как и Синцов, они давно ничего не ели: у них были похудевшие детские лица и отчаянные глаза. Оба были похожи на галчат, выброшенных из гнезда прямо на дорогу.

– Что вы, ребята? – спросил Синцов, вставая. – Куда идете?

Мальчики ответили, что они ездили в Смоленск на подготовку к летнему спортивному параду, а сейчас возвращаются к себе в спецшколу, в Борисов.

– А где это? – спросил Синцов. – В самом Борисове?

Они сказали, что нет, еще дальше, шестнадцать километров в сторону Минска.

– По-моему, там сейчас немцы, – сказал Синцов. – Я там вчера был.

Мальчики недоверчиво посмотрели на него, потом один из них отвел глаза. Синцов проследил за его взглядом и увидел в двухстах метрах, на обочине, несколько неподвижных тел, а посреди дороги воронку, которую как раз сейчас объезжала мчавшаяся на восток машина. Когда он вчера заснул, здесь никто не лежал, – значит, ночью совсем близко упала бомба, кого-то убило, а он даже не проснулся.

– Мы думали, вы тоже убиты, – сказал один из мальчиков. – Куда же нам идти?

– Мы все-таки пойдем к себе в школу, – сказал другой. – Не может быть, чтобы там были немцы.

Синцову так и не удалось переубедить их. Они ему не поверили, но очень обрадовались, когда он, нащупав в кармане шинели банку консервов, которую ему вчера дал военюрист, предложил им поесть перед дорогой. В банке оказались кильки, и они втроем съели эти кильки без хлеба и воды.

Мальчики пошли. Синцов еще долго с тревогой смотрел им вслед.

Потом отряхнул шинель, пилотку и пошел по Минскому шоссе на восток, к Орше.

Кто только не шел в те дни по этому шоссе, сворачивая в лес, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах, и снова вставая, и снова меряя его усталыми ногами! Особенно много тянулось еврейских беженцев из Столбцов, Барановичей, Молодечно и других городков и местечек Западной Белоруссии. Сейчас, на восьмой день войны, они были уже за Борисовом и, значит, тронулись в путь давно, еще в первые сутки... Тысячи людей ехали на невообразимых фурах, дрожках и подводах, ехали старики с пейсами и бородами, в котелках прошлого века, ехали изможденные, рано постаревшие еврейские женщины, ехали дети – на каждой подводе по шесть – восемь – десять маленьких черномазых ребят с быстрыми испуганными глазами. Но еще больше людей шло рядом с подводами.

Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными, сбившимися набок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.

Все это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками, – шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней – трагедия людей, которые умирали под бомбежками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов.

А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме; темно-зеленые сады были облиты красным светом заката, над крышами изб курились дымки, а по гребню холма, на фоне заката, мальчишки гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня была маленькая, а кладбище большое – целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим – все, вместе взятое, потрясло душу Синцова. Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, – и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков – дедов, прадедов и прапрадедов – легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если все так началось, то что же произойдет со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели ее.

Полтора года назад, когда Синцову вместо демобилизации предложили остаться в кадрах, это не обрадовало его, но он согласился: дивизия, в которую он был призван, стояла на Буге, за Бугом были фашисты, в воздухе пахло войной, и он считал, что коммунисты в таких случаях не отказываются служить в армии.

И вот, когда случилось то, во имя чего он остался служить в армии, когда началась война с фашизмом, он вдруг с самого начала оказался не в своей части, не на своем месте, каким-то перекасти-поле, человеком, бессмысленно сующим свои документы, ищущим свою неизвестно где находящуюся редакцию, а теперь в поисках ее даже, как дезертир, бредущим вспять от фронта.

Он и после смерти пограничника все равно твердо решил добираться до Могилева, раз сказано, что там Политуправление фронта. Но если это вранье, он так же твердо решил больше ничего не искать и проситься политруком в первую же стрелковую часть, какую встретит.

С утра он, как и вчера вечером, много раз поднимал руку, но опять ни одна машина так и не остановилась. И он, плюнув и уже не оглядываясь на машины, весь остальной день упрямо шел по шоссе, то отдаваясь своим тяжелым мыслям, то ни о чем не думая, только устало передвигая свинцовые ноги.

Наверное, в конце концов он так и дошел бы пешком до самой Орши, если бы уже вечером возле него не остановился грузовик.

– Куда идете, политрук? – спросил сидевший в кабине полковник.

– В Оршу! – угрюмо сказал Синцов.

– Почему пешком идете?

– Голосовал, да надоело, – все так же угрюмо ответил Синцов. – Не берут, сволочи!

– Да, сволочей хватает, – сказал полковник, – хотя и меньше, чем можно было бы предполагать в такой обстановочке. Дайте-ка ваши документы!

Синцов равнодушно протянул полковнику документы. Полковник быстро взглянул на них и отдал обратно.

– Садитесь в кузов.

Через час бешеной езды они оказались в Орше. Машина у полковника была чужая, взятая под честное слово только до Орши. Он так же, как и Синцов, добирался в Могилев и от Орши рассчитывал доехать до Могилева поездом. Синцов зашел вместе с полковником к коменданту города. Комендатура помещалась в подвале школы. За столами у телефонов сидели обалдевшие от крика майор – комендант города – и еще два майора-железнодорожника.

– Будет ли поезд на Могилев? – спросил полковник.

Комендант, которого он спрашивал, в этот момент, бросив трубку одного телефона, кинулся к другому, но полковник крепкой рукой схватил его за плечо и насильно повернул лицом к себе.

– Отвечайте, я вас спрашиваю, будет ли поезд на Могилев и когда?

– Сейчас, товарищ полковник! – охрипшим голосом сказал майор. – Должен быть... – И кинулся к телефону, по которому его вызывали. Чем дольше он слушал, тем все более ожесточенным делалось его лицо. Наконец он мрачно выругался и швырнул трубку. – Не будет поезда, товарищ полковник! Вот, пожалуйста, извольте радоваться, только что сообщили: разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на Могилев!

– Ладно, черт с ним, – спокойно сказал полковник Синцову. – Эти все равно сами ничего не знают, все у них только и делает, что летит и рвется, а проехать, наверное, преспокойно можно. Пошли на станцию, там добьемся толку.

Но и на станции толку добиться было не так-то просто: свет не горел, военный комендант и начальник станции говорили таинственным шепотом, что им пока ничего не известно. Наконец полковник поймал какого-то железнодорожника, который тоже шепотом, как о большой тайне, сказал, что на путях за водокачкой формируется товарный состав на Могилев.

– Пошли! – сказал полковник.

Как видно, не только Синцову, но и этому пожилому, опытному, выдавшему виды человеку было одиноко и хотелось человеческого сочувствия. Он рассказал Синцову, что прилетел в Москву из Приволжского военного округа, назначен начальником штаба корпуса, проскочил в поисках своего корпуса до Борисова, чуть не попал в плен к немцам, вчера целый день прокомандовал в бою оставшейся без командира ротой, а сегодня узнал, что его корпус вовсе не здесь, а вышел в район Осиповичи – Бобруйск, поэтому он и едет туда через Могилев.

– Конечно, можно было и дальше ротой командовать, – сказал он сердито, – но порядок должен же быть все-таки! Слава богу, восьмой день воюем, пора в чувство приходиться! Раз я назначен начальником штаба корпуса, значит, я должен прибыть к месту службы, а не просто с винтовкой в цепи лежать. Один болван, когда я передал команду над ротой лейтенанту, еще позволил себе в трусости меня упрекнуть.

– И что же вы? – спросил Синцов.

– Что я? Съездил ему за этого труса по морде, чтоб впредь умней был, и уехал.

Полковник даже побагровел при этом воспоминании, и его без того насупленное усатое лицо стало совсем свирепым.

Они долго бродили среди путей в поисках состава и, как это почти всегда бывает, когда находится уверенный в своих силах и знающий, чего он хочет, человек, постепенно обросли еще десятком людей, по разным причинам желавших добраться до Могилева.

Пока они искали состав, немецкие бомбардировщики налетели на станцию. На забитых станционных путях один за другим заревели паровозы.

На Оршанском узле их стояло несколько десятков. Они ревели, вторя друг другу, выпуская тучи белого пара; рев их был испуганный и чудовищно тоскливый. Он был гораздо страшнее, чем грохот бомбежки, к которому Синцов уже привык за эти дни; казалось, паровозы во

весь голос жалуются неизвестно кому: небу или людям, – жалуются и просят помочь, а небо все сыплет и сыплет сверху на черную землю бомбы, разрывающиеся среди домов, рельсов и лежащих на путях людей, оглушенных, злых, несчастных, до глубины души обиженных всем происходящим.

После тревоги добрались до водокачки и, не найдя там никакого состава, все присели отдохнуть на кучах ссыпанного у путей шлака. Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать: слишком много накопилось у каждого на душе.

– Не думали, не гадали, – печально сказал из темноты кто-то, кого Синцов так и не разглядел в лицо этой ночью.

– Если бы не думали, не гадали, еще бы ладно, – после молчания отозвался полковник. – А то ведь и гадали и думали, а на поверку – ералаш!

– Удивительно много беспорядка! – из темноты откликнулся кто-то, тоже невидимый, тонким удивленным тенором. – Просто удивительно.

– А мой саперный батальон в Белостоке стоял! – сказал густой бас. – Куда он теперь отошел...

– Ищи-свищи! – холодно и резко ответил чей-то злой голос.

Несколько минут все молчали.

– Августовскую катастрофу четырнадцатого года в академиях изучали, над Самсоновым смеялись, а сами обо... – грубо срифмовал тот же холодный, желчный голос, который ответил саперу. – В общем, шапками закидаем, на чужой территории, малой кровью... Ура и так далее, – продолжал он.

– На чужой территории еще будем – зарубите это себе на носу, вы, там, в темноте, не вижу, как вас по званию! – сердито отозвался полковник. – Но что верно, то верно: ералаш большой, бо-ольшой... И главное – самим же придется его расхлебывать!

Это вызвало целый хор ответных замечаний. Кто-то заметил, что мы, русские, долго запрягаем, зато потом быстро ездим. Но его слова не встретили сочувствия.

– Не восемьсот двенадцатый, теперь и запрягать надо поворачиваться! А то прозапрягаемся до Смоленска.

Полковник сказал, что эту поговорку немцы выдумали.

Люди спорили друг с другом, но в их голосах одинаково дрожали злость и обида. Они были подавлены не только совершенно очевидным беспорядком, но еще больше тем, что где-то идут бои, дерутся их части, а они до сих пор еще не попали туда и неизвестно, как попадут!

– А меня вчера чуть как диверсанта не расстреляли! – сказал кто-то. – В зубы наган сунули, как лошади. Я Перекоп брал, а они мне, сволочи, мальчишки, в зубы наган суют!

– Эй вы, августовская катастрофа! – словно вдруг что-то вспомнив, позвал полковник человека с не понравившимся ему холодным голосом. – Вы тоже с нами до Могилева? Свою часть ищите?

Но на этот вопрос никто не откликнулся. Тот, кого спрашивали, то ли не хотел отвечать, то ли ушел... Было слышно, как в темноте люди поворачиваются друг к другу.

– Вроде ушел, – наконец раздался густой голос сапера. – Тут, около меня, сидел.

– Конечно, и паникеры попадают, – после молчания сказал полковник, не то отзываясь на слова сапера, не то отвечая собственным мыслям. – Наган есть кому в зубы сунуть. Только бывает, что не тому суют... Встали! – Он поднялся первым. – Шут их знает, может, у них тут есть еще какая-нибудь водокачка! Пойдем поищем!

Другой водокачки они не нашли, но через час добрались до стрелочника, который, показав на темневшие вдаль, стоявшие без паровоза вагоны, уверенно сказал, что их должны прицепить на Могилев.

Устав от бессмысленного блуждания, все пошли к вагонам. Между товарными вагонами на платформах стояли два новеньких штабных автобуса.

– Погрузимся в автобусы, – сказал полковник, первым влезая на платформу и пробуя открыть дверцу автобуса. Она открылась. – Повезут – так поедem, а не повезут – хоть поспим до утра.

Синцов тоже залез в автобус, сел на новенькое клеенчатое сиденье, обшарил его руками, словно начав сомневаться за эти дни, что еще может существовать что-то новенькое и чистенькое, прислонился головой к холодному оконному стеклу и заснул.

Утром спросонок он никак не мог понять, где находится. Он ехал в автобусе; рядом с ним, на других сиденьях, спали незнакомые военные, а за окнами по обеим сторонам летел зеленый, теплый, солнечный лес. Он подумал, что едет по шоссе, и только потом, вспомнив все пережитое ночью, сообразил, что автобус стоит на платформе, а поезд движется. Стрелочник не обманул: поезд подходил к Могилеву.

Могилевский комендант взял документы Синцова и несколько раз подряд прочитал их воспаленными, красными глазами; должно быть, он так устал, что, читая в первый раз, бессмысленно смотрел на бумагу, второй раз выхватывал из нее только бросившиеся ему в глаза слова и лишь на третий раз начинал понимать все, что написано. Он сказал Синцову, что Политуправление фронта находится в тринадцати километрах от Могилева.

– Через этот мост, что виден там, за окном, и налево по шоссе, на Оршу. Тринадцатый километр в лесу, там увидите...

Синцову повезло. На мосту ему удалось остановить пикап. С шофером в кабине сидел лейтенант-связист, а кузов пикапа был завален гранатами. Связист довез примостившегося на гранатах Синцова до густого леса, в глубь которого уходило несколько свеженаезженных дорог, и ссадил на опушке.

Синцов углубился в лес. Погода испортилась, шел мелкий дождь. На склонах лесистых холмов, между деревьями, повсюду рыли землянки и щели, кое-где стояли счетверенные зенитные пулеметы. Штаб и Политуправление фронта, кажется, только устраивались здесь. Синцов наткнулся на стоявшего прямо у дороги худощавого дивизионного комиссара в желтом, потемневшем от дождя кожаном пальто, с добрым, красивым лицом и пшеничными усиками. Дивизионный комиссар был похож на Чапаева.

Синцов обратился к нему. Комиссар несколько секунд подержал под дождем отпускной билет Синцова, по которому от упавшей капли поплыл лиловым пятном канцелярский росчерк московской отметки.

– Где сейчас ваша редакция, к сожалению, не знаю, – сказал дивизионный комиссар, складывая билет пополам. – Признаюсь, пока еще не знаю даже, где и политотдел вашей Третьей армии. И вообще... – Кажется, он хотел сказать, что вообще не знает, где вся Третья армия, но не сказал этого, а только невесело улыбнулся. – Придется послужить здесь, у нас... – И он протянул документы Синцова не самому Синцову, а стоявшему рядом толстому, румяному батальонному комиссару со знакомым Синцову лицом. – Возьмите политрука к себе, – сказал он. – Турмачев-то у вас выбыл надолго?

Батальонный комиссар подтвердил, что Турмачев выбыл надолго, и, попросив разрешения быть свободным, увел с собой Синцова.

– Ну вот, будете у нас, – через полчаса говорил он Синцову, сидя рядом с ним в спрятанной под елками «эмке».

На полу «эмки» стоял термос, из которого они оба по очереди пили чай, а на коленях у батальонного комиссара лежала газета с горкой ванильных сухарей.

– Еще жена в Москве упаковала, – говорил батальонный комиссар. – Сердился на нее: «Что ты меня снаряжаешь? Я же на армейском довольствии!» – а теперь рад...

Сухари были московские, батальонный комиссар – редактор фронтовой газеты – тоже был московский. В прошлом году Синцов приезжал в Москву на краткосрочные газетные курсы, и батальонный комиссар читал там лекции по отделу партийной жизни. Это был пер-

вый хоть немножко знакомый Синцову человек, которого он встретил за последние пять суток; а главное, наконец не надо больше бродить, совать свои документы, выслушивать ответы «не знаю», «неизвестно». Он наконец прибыл в часть, мог не искать ничего другого, оставаться здесь, получать приказания, делать то, для чего ехал на войну. От всех этих разом нахлынувших чувств Синцов глубоко вздохнул.

– Что это вы?

– Устал скитаться.

– Вообще тяжело, – сказал батальонный комиссар. – Турмачева вчера диверсанты ранили. Вы его не знали?

– Не знал.

– Он когда-то в вашем «Боевом знамени» служил. Ехал ночью на редакционной полуторке сюда, в политуправление, кто-то остановил с фонарем, стали проверять документы, он достал документы, а его из нагана в бок! И скрылись. Кто? Что? Почему? Газету сегодня выпустили, – внешне перескакивая с одного на другое, а в сущности продолжая говорить о том, как тяжело, сказал батальонный комиссар, – а куда везти, неизвестно! Полевая почта еще не работает, где какие части стоят, пока не знаем. Сегодня с утра рассадил всех работников по машинам и разослал по разным дорогам, чтобы в каждую часть, какую найдут, давали пачку газет. Очень тяжело, – заключил он и приказал, чтобы Синцов ехал в Могилев, шел в типографию и помогал выпустить номер. – Там сейчас всего три человека: секретарь, машинистка и выпускающий.

– А материал есть? – спросил Синцов.

– Делайте из того, что есть. Я потом приеду. Какой же материал? – пожал плечами батальонный. – Может быть, привезут к вечеру. Газеты раздадут, а материал привезут. А у вас есть какой-нибудь материал? – поднял он глаза на Синцова.

Но Синцов только молча посмотрел на него. «Какой у меня может быть материал! – думал он. – Да, у меня есть материал, да, я видел за эти дни столько, сколько не видал за всю жизнь, но разве можно напечатать все это рядом с той только что записанной по радио сводкой, которую редактор держит на коленях вместе с сухарями?! В сводке написано о больших приграничных сражениях, а я еще три дня назад не мог попасть из Борисова в Минск. Чему же верить: этой сводке или тому, что я видел своими глазами? Или, может быть, правда и то и другое, может быть, там впереди, у границы, на самом деле идут тяжелые, но успешные оборонительные бои, а я просто оказался в полосе немецкого прорыва, обалдел от страха и не могу представить себе того, что происходит в других местах?»

Но если даже правдой было и то и другое, это не меняло дела в газете. На ее страницах принятая по радио сводка претендовала быть единственной правдой! Это было так. И иначе и не могло быть.

– Нет у меня никакого материала, – после долгого молчания сказал Синцов, глядя в глаза редактору, и они оба поняли друг друга.

Синцов возвращался в Могилев уже в темноте на той же самой редакционной полуторке, на которой в предыдущую ночь ранили неизвестного ему Турмачева. Шофер был тот же самый. По дороге он все время говорил о вчерашнем происшествии, и Синцов, когда их задерживали на контрольно-пропускных пунктах, каждый раз, протягивая левой рукой документы, в правой сжимал наган, который заботливый редактор добыл ему в политуправлении.

За ночь в старой могилевской типографии с грехом пополам сверстали и выпустили очередную номер фронтовой газеты. Половину ее заняли две последние сводки Информбюро, напечатанные крупным шрифтом, чтобы занять побольше места. Остальной материал к середине ночи кое-как собрался от развозивших вчерашний номер корреспондентов. Все это были короткие заметки о разных случаях героизма, взятых из рассказов людей, или неделю отсутствовавших с боями, или только что прорвавшихся из немецкого окружения. Сначала под пером

корреспондентов, а потом под красным карандашом Синцова, приводившего заметки в соответствие со сводками, из них постепенно исчезало все, что могло дать представление о том, в каких местах сейчас шли бои. В соседстве со сводками, говорившими о продолжавшихся приграничных сражениях, эти заметки приобретали, пожалуй, даже успокоительный характер. Люди дрались, проявляли мужество, убивали фашистов. Где? Об этом говорили сводки.

Даже из самых скупых рассказов вернувшихся за ночь в редакцию корреспондентов Синцов уже знал: то, что он видел на Минском шоссе, происходило не только там. Немцы проорвались во многих местах. Обстановка, во всяком случае на Западном фронте, была тяжелой, неясной, и не фронтовой газете было раскрывать ее! Это он понимал и действовал своим красным карандашом без колебаний. Не понимал он другого: как все это могло произойти? Не понимал и мучился вопросом: неужели, несмотря ни на что, мы не переломим положения в ближайшие же дни? Все, что видели его глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но душа его не могла смириться с этим, она верила в другое! И хотя он вправе был верить своим глазам, вера его души была сильнее всех очевидностей. Он не пережил бы тех дней без этой веры, с которой незаметно для себя, как и миллионы других военных и невоенных людей, втянулся в четырехлетнюю войну.

Уже под утро, перед тем как пускать номер в машину, Синцов еще раз тупо вычитал все – строчку за строчкой – и только после этого, подстелив шинель, лег спать на прохладном каменном полу типографии. Старенькие печатные машины натужно гудели, пол чуть-чуть содрогался под головой.

Засыпая, Синцов подумал о дочери и с бессильной яростью представил себе, что теперь, когда он попал в другую газету и на другой участок фронта, что-нибудь узнать о ней будет и вовсе не в его силах. Во всяком случае, до тех пор, пока все не переменится самым крутым образом...

Глава вторая

Утром четыре редакционные полуторки выехали из ворот типографии. В каждой сидели по два корреспондента и лежало по десять пачек газет из только что отпечатанного тиража. Способ распространения оставался вчерашний: везти газеты по разным дорогам, раздавать всем, кто встретится, и попутно собирать материал для следующего номера.

Синцов, проспавший на полу типографии всего три часа, да и то в два приема, потому что его разбудил приехавший под утро редактор, поднялся совсем одурелый, ополоснул под краном лицо, затянул ремень, вышел во двор, сел в кабину грузовика и окончательно проснулся только у выезда на Бобруйское шоссе. В небе ревели самолеты, сзади, над Могилевом, шел воздушный бой: немецкие бомбардировщики пикировали на мост через Днепр, а прикрывавшие их истребители – семь или восемь – высоко в небе дрались с тройкой поднявшихся с могилевского аэродрома наших курносых «ястребков».

Синцов слышал, что в Испании и Монголии эти «ястребки» расправлялись с немецкими, итальянскими и японскими истребителями. И здесь сначала загорелся и упал один «мессершмитт». Но потом, кувыркаясь, стали падать сразу два наших истребителя. В воздухе остался один, последний.

Синцов остановил машину, вылез, еще с минуту следил за тем, как наш истребитель кружился между немецкими. Потом они все вместе исчезли за облаками, а бомбардировщики продолжали с ревом пикировать на мост, в который они, кажется, никак не могли попасть.

– Ну как, поехали? – спросил Синцов своего спутника, сидевшего в кузове на пачках газет, младшего политрука с девичьей фамилией Люсин.

Этот Люсин был высокий, ловкий, румяный красавец со светлым чубом, выбивавшимся из-под новенькой щегольской фуражки. В хорошо пригнанном обмундировании, затянутый в новенькие ремни, с новеньким, привычно висевшим у него на плече карабином, он выглядел самым военным из всех военных людей, которых встречал за последние дни Синцов, и Синцов был рад, что ему повезло со спутником.

– Как прикажете, товарищ политрук! – отозвался Люсин, приподнимаясь и прикладывая пальцы к фуражке.

Синцов еще ночью, когда они вместе выпускали газету, обратил внимание на редкое в среде военных газетчиков старание Люсина держаться подчеркнуто по-строевому.

– Только я, пожалуй, тоже в кузов сяду, – сказал Синцов.

Но Люсин вежливо запротестовал:

– Я бы не посоветовал, товарищ политрук! Старшему по команде положено в кабине ехать, а то неудобно даже. Машину задержать могут... – И он снова приложил пальцы к фуражке.

Синцов сел в кабину, и машина тронулась. И полуторка и шофер были все те же, с которыми он возвращался вчера в Могилев из штаба фронта. Он, собственно, и в кузов-то хотел пересесть, боясь, как бы шофер снова не стал развлекать его разговорами про диверсантов. Но шофер сидел за рулем насупясь и не говорил ни слова. То ли он не выспался, то ли ему не нравилась эта поездка в сторону Бобруйска.

Синцов, наоборот, был в приподнятом настроении. Редактор ночью рассказал, что наши части за Березиной, на подступах к Бобруйску, вчера потрепали немцев, и Синцов надеялся побывать там сегодня. Его, как и многих других не трусливых от природы людей, встретивших и перестрадавших первые дни войны в сумятице и панике прифронтовых дорог, с особенной силой тянуло теперь вперед, туда, где дрались.

Правда, редактор не мог толком объяснить ни какие именно части потрепали немцев, ни где точно это было, но Синцов по неопытности и не особенно тревожился этим. Он взял с собой

карту, по которой редактор неопределенно поводил пальцем вокруг Бобруйска, и сейчас ехал, рассматривая ее и прикидывая, сколько времени им ехать вот так, по тридцать километров в час. Выходило – примерно часа три.

Сначала сразу за Могилевом пошли поля с перелесками. Сплошная зелень была во многих местах перерезана то широкими, то узкими рыжими отвалами земли: по обеим сторонам шоссе рыли противотанковые рвы и окопы. Почти все работавшие были в гражданском платье. Только иногда среди рубашек и платков мелькали гимнастерки распорядившихся работами саперов.

Потом машина въехала в густой лес. И сразу кругом стало безлюдно и тихо. Полуполтора шла и шла по лесу, а навстречу не попадалось никого: ни людей, ни машин. Сначала это не особенно тревожило Синцова, но потом начало казаться ему странным. Под Могилевом был штаб фронта, за Бобруйском шли бои с немцами, и он считал, что между этими двумя пунктами должны стоять штабы и войска, а значит, должно происходить и движение машин.

Но вот они проехали уже полдороги, потом еще десять километров и еще десять, а шоссе по-прежнему было пустынно. Наконец грузовик Синцова чуть не столкнулся на перекрестке с «эмочкой», выезжавшей с лесной дороги. Синцов открыл кабину и помахал рукой. «Эмочка» остановилась. В ней оказался пехотный капитан, он назвался адъютантом командира стрелкового корпуса. Синцов решил поехать вместе с ним и раздать газету в частях корпуса – пока что все пачки лежали нетронутыми в грузовике. Но адъютант поспешно ответил, что он был в отлучке, а корпус тем временем куда-то переместился. Он сам теперь ищет свой корпус, так что ехать вместе с ним бессмысленно, пусть лучше ему дадут несколько пачек газет в «эмку», – когда он найдет корпус, он их сам раздаст. Люсин достал из кузова две пачки, капитан бросил их на заднее сиденье, и «эмка», газанув, скрылась за деревьями, а полуполтора поехала дальше к Бобруйску.

Над дорогой несколько раз прошли «мессершмитты». Лес подступал вплотную к шоссе, и они выносились из-за верхушек деревьев так мгновенно, что Синцов только раз успел выскочить из машины. Но немцы не обстреливали полуполтора, – наверно, у них были дела поважнее.

До Березины, судя по карте, оставалось всего десять километров. Раз бои идут на той стороне, за Бобруйском, значит, по эту сторону реки должны стоять хоть какие-нибудь тылы или вторые эшелоны. Синцов, поворачивая голову то вправо, то влево, напряженно всматривался в гущу леса.

Непонятная пустынность шоссе все больше действовала ему на нервы.

Вдруг шофер резко затормозил.

На пересечении с узкой, далеко к горизонту уходившей просекой на обочине шоссе стоял красноармеец без винтовки, с двумя гранатами у пояса.

Синцов спросил у него, откуда он и нет ли поблизости кого-нибудь из командиров.

Красноармеец сказал, что он прибыл с лейтенантом в составе команды из двадцати человек еще вчера на грузовике из Могилева и поставлен здесь на пост – задерживать идущих с запада одиночек и направлять их налево по просеке, к лесничеству, где лейтенант формирует часть.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что он стоит здесь со вчерашнего вечера, что винтовки им выдали в Могилеве через одного: «На первый, второй рассчитайся!»; что сначала они стояли вдвоем, но под утро его напарник исчез; что за это время он направил в лесничество человек шестьдесят одиночек, но о нем самом, наверно, забыли: никто не сменял его, и он ничего не ел со вчерашнего дня.

Синцов отдал ему половину набитых в полевую сумку сухарей и приказал шоферу ехать дальше.

Еще через километр машину остановили двое выскочивших из лесу милиционеров в серых прорезиненных плащах.

– Товарищ командир, – сказал один из них, – какие будут приказания?

– Какие приказания? – удивленно переспросил Синцов. – У вас есть свое начальство!

– Нет у нас своего начальства, – сказал милиционер. – Послали позавчера сюда, в лес, парашютистов ловить, если сбросятся, а какие же теперь парашютисты, когда немцы уже через Березину переправились!

– Кто это вам сказал?

– Люди сказали. Да вон уже и артиллерия... Не слышите разве?

– Не может быть! – сказал Синцов, хотя, когда он прислушался, ему самому показалось, что впереди слышен гул артиллерии. – Вранье! – успокаивая сам себя, отрезал он тоном, в котором было больше упрямства, чем уверенности.

– Товарищ начальник, – сказал милиционер, лицо у него было бледное и полное решимости, – вы, наверное, в свою часть едете, возьмите с собой, зачислите бойцами! Что ж нам тут дожидаться, когда фашист на сук вздернет! Или форму снимать?

Синцов сказал, что он действительно ищет какую-нибудь часть и если милиционеры хотят ехать с ним, пусть садятся в кузов.

– А куда вы едете? – спросил милиционер.

– Туда. – Синцов неопределенно показал рукой вперед. Теперь он и сам уже не знал, куда и до каких пор поедет.

Говоривший с Синцовым милиционер поставил ногу на колесо. Второй дернул его сзади за плащ и стал что-то шептать ему, – очевидно, он не хотел ехать в сторону Бобруйска.

– А, иди ты!.. – огрызнулся первый милиционер, брезгливо рванулся и, толкнув товарища сапогом в грудь, перемахнул через борт машины.

Машина тронулась. Второй милиционер растерянно стоял, пока мимо него проезжал кузов машины, потом отчаянно махнул рукой, побежал за машиной, схватился за борт и уже на ходу перевалился через него всем телом. Остаться одному было еще страшней, чем ехать вперед.

Над лесом с медленным густым гулом проплыли шесть громадных ночных четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было видно ни одного нашего истребителя. Синцов с тревогой подумал о только что шнырявших над дорогой «мессершмиттах», и ему стало не по себе. Но бомбардировщики спокойно скрылись из виду, и через несколько минут впереди послышались разрывы тяжелых бомб.

Судя по промелькнувшему дорожному указателю, до Березины оставалось всего четыре километра. Теперь Синцов был убежден, что вот-вот они встретят наши части, не могло же в конце концов никого не оказаться на этом берегу Березины.

Вдруг из лесу выскочили несколько человек и стали отчаянно махать руками. Шофер вопросительно посмотрел на Синцова, но Синцов ничего не сказал, и машина продолжала двигаться. Люди, выскочившие на дорогу, что-то кричали вслед, рупором прикладывая руки.

– Остановитесь! – сказал Синцов шоферу.

К машине подбежал запыхавшийся сержант-сапер и спросил у Синцова, куда идет машина.

– В Бобруйск.

Сержант вытер струившийся по лицу пот и, судорожно глотая слюну, так, что у него перекатывалось адамово яблоко, ответил, что немцы уже переправились на этот берег Березины.

– Какие немцы?

– Танки...

– Где?

– Да метров семьсот отсюда. Только сейчас у нас с ними бой был! – показал сержант рукой вперед. – Мы двигались командой по маршруту к полосе минирования, а они из танка огонь открыли, одним снарядом десять человек убили. Вот нас всего... – он растерянно посмотрел на

стоявших рядом красноармейцев, – всего семь осталось... Хоть бы взрывчатка или гранаты с собою были, а то что из нее танку сделаешь?! – Сержант в сердцах стукнул о землю прикладом винтовки.

Синцов все еще колебался, не веря, что немцы в самом деле так близко, но мотор грузовика заглох – и сразу стала отчетливо слышна сильная пулеметная стрельба слева от дороги, совсем рядом, несомненно уже на этой стороне Березины.

– Товарищ политрук! – Люсин впервые за всю поездку подал голос из кузова. – Разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения?

На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан страх, который, однако, не помешал ему обратиться к Синцову по всей форме.

– Повернули, – сказал Синцов, в свою очередь бледнея.

До сих пор ему не приходило в голову, что еще полкилометра, километр – и они заедут в плен к немцам! Шофер с грохотом выжал сцепление, развернул машину, и перед Синцовым мелькнули растерянные лица оставленных им на дороге бойцов.

– Стой! – устыдясь собственной слабости, заорал он и сжал плечо шофера с такой силой, что тот охнул от боли. – Лезьте в кузов! – высовываясь из кабины, крикнул Синцов красноармейцам. – Поедете со мной.

Несмотря на полтора года службы в военной газете, он, в сущности, впервые в жизни приказывал сейчас другим по праву человека, у которого оказалось больше, чем у них, кубиков на петлицах. Красноармейцы один за другим попрыгали в кузов, последний замешкался. Товарищи стали подтягивать его вверх на руках, и Синцов только теперь увидел, что тот ранен: одна нога обута в сапог, а другая, разутая, вся в крови.

Синцов выскочил из кабины и приказал посадить раненого на свое место. Почувствовав, что его приказаний слушаются, он продолжал приказывать, и его слушались снова. Красноармейца пересадили в кабину, а Синцов перелез в кузов. Шофер, подгоняемый все отчетливее слышной пулеметной стрельбой, погнал машину назад, к Могилеву.

– Самолеты! – испуганно крикнул один из красноармейцев.

– Наши, – сказал другой.

Синцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно три ТБ-3. Наверно, бомбежка, которую слышал Синцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок, но острое предчувствие несчастья, которое охватило Синцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь.

И в самом деле, откуда-то сверху, из-за редких облаков, выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, «мессершмитт» и с пугающей скоростью стал догонять бомбардировщики.

Все ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем ими страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо. «Мессершмитт» вкось прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес.

«Мессершмитт» тонкой стальной полоской сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. «Мессершмитт» снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло, и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым.

«Мессершмитт» с визгом описал петлю и по косой линии, сверху вниз, понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое.

Еле слышный издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пике «мессершмитта», молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва.

– Еще идут! – в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного.

Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин.

Потрясенный Синцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в португую; милиционер сидел рядом с ним, молитвенно сложив руки: он умолял летчиков заметить, поскорее заметить эту выющую в небе страшную стальную осу!

Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, но ничего не могли сделать. «Мессершмитт» свечой ушел в облака и исчез. У Синцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов.

– Смотри, второй! – сказал милиционер. – Смотри, второй!

И Синцов увидел, как уже не один, а два «мессершмитта» вынырнули из облаков и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе.

А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя.

Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно – что враг вдруг зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы.

«Почему не выбрасываются на парашютах?» – думал Синцов. – А может, у них там вообще нет парашютов?»

Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем «мессершмитты» подошли к бомбардировщику: он пробовал отстреливаться. И вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним «мессершмитт», так и не выходя из пике, исчез за стеною леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит; потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик: второй «мессершмитт» еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Синцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков, один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты.

Потерявший своего напарника немец, мстительно потрескивая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков – с грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускались над лесом так медленно, что если б все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковое движение: вниз, вниз, к земле!

«Мессершмитт», круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями, словно высматривая что-то еще на земле, и исчез.

Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин; не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни «мессершмиттов», – не было ничего, было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом.

Синцов стоял в кузове несшегося по шоссе грузовика и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним.

– Стой, стой! – первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины.

– Что? – высунулся шофер.

– Надо искать! – сказал Синцов. – Надо искать, – может, они все-таки живы, эти, на парашютах...

– Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник, их дальше отнесло, – сказал милиционер; лицо его вспухло от слез, как у ребенка.

Они проехали еще километр, остановились и слезли с машины. Все помнили о переправившихся через Березину немцах и в то же время забыли о них. Когда Синцов приказал разделиться и идти искать летчиков по обе стороны дороги, никто не стал спорить.

Синцов, двое милиционеров и сержант долго ходили по лесу, справа от дороги, кричали, звали, но так никого и не обнаружили – ни парашютов, ни летчиков. А между тем летчики упали где-то здесь, в этом лесу, и их надо было непременно найти, потому что иначе их найдут немцы! Только после часа упорных и безуспешных поисков Синцов наконец вышел обратно на дорогу.

Люсин и все остальные уже стояли у машины. Лицо у Люсина было расцарапано, гимнастерка разорвана, а карманы ее так туго набиты, что на одном даже оторвалась пуговица. В руке он держал пистолет.

– Убили, товарищ политрук, обоих до смерти, – горестно сказал Люсин и потер рукой расцарапанное лицо.

– Что с вами?

– На сосну лазил. Зацепился один, бедный, за самую верхушку, так и висел вверх ногами, мертвый, еще в воздухе его убили.

– А второй?

– И второй.

– Издевается фашист над людьми! – с ненавистью сказал один из красноармейцев.

– Документы забрал. – Люсин дотронулся до кармана с оторванной пуговицей. – Передать вам?

– Оставьте у себя.

– Тогда пистолет возьмите. – Люсин протянул Синцову маленький браунинг.

Синцов посмотрел на браунинг и сунул его в карман.

– А вы не нашли, товарищ политрук? – спросил Люсин.

– Нет.

– А мне сдается, тех, что по правую руку спустились, их еще дальше отнесло, – сказал Люсин. – Надо подъехать еще метров четыреста, слезть и цепью прочесать лес.

Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще четыреста метров и остановилась, навстречу ей из лесу, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика в комбинезоне; руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле.

– Примите, – коротко сказал летчик.

Люсин и подскочившие красноармейцы приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги, он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова замуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги и комбинезон, перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот, градом катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами.

– Видели? – угрюмо спросил он наконец, вытерев пот, снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза.

– Прямо над нами... – сказал Синцов.

– Видели, как сталинских соколов, как слепых котят... – начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя и, ничего не добавив, еще глубже надвинул шлем.

Синцов молчал. Он не знал, что ответить.

– Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили, задание выполнили, – сказал летчик. – Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие!

– Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые, – сказал Синцов.

– Мы тоже уже не живые, – сказал летчик. – Документы и оружие с них взяли? – добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки и умевшего это делать.

– Взяли, – сказал Синцов.

– Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам, – сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. – Мой штурман! Лучший экипаж в полку был, отдали на съедение ни за грош! – опять срываясь в рыдание, крикнул он и, так же мгновенно, как и в первый раз, взяв себя в руки, деловито спросил: – Поехали?

Раненого штурмана положили в кузов, к задней стенке кабины, чтобы меньше трясло, и подложили ему под ноги кипы газет. Летчик сел рядом со своим штурманом, в головах. Потом сели все остальные. Машина тронулась и почти сразу же круто затормозила.

Это был тот перекресток, где Синцов недавно делился сухарями с часовым. Красноармеец по-прежнему стоял здесь. Увидев возвращавшуюся машину, он выскочил на середину дороги, размахивая гранатой так, словно собирался бросить ее под грузовик.

– Товарищ политрук, – спросил он Синцова голосом, от которого у того похолодело внутри, – товарищ политрук, что же это? Вторые сутки не сменяют... Неужели не будет другого приказа, товарищ политрук?

И Синцов понял, если твердо ответить ему, что другого приказа не будет, что его придут и сменят, он останется и будет стоять. Но кто поручится, что его действительно придут и сменят.

– Я снимаю вас с поста, – сказал Синцов, пытаясь вспомнить, как назло, выскочившую из головы формулу, при помощи которой старший начальник может снять с поста часового. – Я снимаю вас с поста, потом доложите! – повторил он, не вспомнив ничего другого и боясь, что из-за неточно отданного приказа красноармеец не послушается его, останется на посту и погибнет. – Садитесь, поедете со мной!

Красноармеец облегченно вздохнул, прицепил гранату к поясу и полез в кузов машины.

Едва машина тронулась снова, как в небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3. На этот раз их сопровождал наш истребитель. Он высоко взмывал в небо и снова проносился над ними, соразмеряя с их медленным движением свою двойную скорость.

– Хоть эту тройку сопровождают, – сказал Синцову летчик со сбитого бомбардировщика; в его голосе было отрешенное от собственной беды чувство облегчения.

Но не успел Синцов ответить, как из облаков вынырнули два «мессершмитта». Они понеслись к бомбардировщикам, наш истребитель развернулся им навстречу, на встречных курсах свечкой пошел вверх, перевернулся через крыло и, пронесшись мимо одного из «мессершмиттов», зажег его.

– Горит, горит! – закричал летчик. – Смотрите, горит!

Мстительная радость овладела людьми, сидевшими в машине. Даже шофер, оставив на баранке одну руку, высунулся всем телом из кабины. «Мессершмитт» падал, из него вывалился немец, высоко в небе раскрыв купол парашюта.

– Сейчас и второго сожжет, – крикнул летчик, – вот увидишь! – Сам не замечая этого, он все время тряс Синцова за руку.

«Ястребок» круто набирал высоту, но второй немец вдруг почему-то оказался уже над ним; снова раздался стук пулеметов, «мессершмитт» вынесся вверх, а наш истребитель, дымя, пошел вниз. От него оторвался черный комочек и с почти неуловимой для глаз быстротой стал падать все ниже и ниже, и лишь над самыми верхушками сосен, когда, казалось, уже все пропало, наконец раскрылся парашют. «Мессершмитт» сделал в небе широкий спокойный разворот и пошел к Бобруйску вслед за бомбардировщиками.

Летчик вскочил на ноги в кузове, он ругался страшными словами и махал руками, слезы текли по его лицу. Синцов видел все это уже пять раз и сейчас отвернулся, чтобы больше не видеть. Он только слышал, как снова издали донесся стук пулеметов, как летчик, скрипнув зубами, в отчаянии сказал «готов» и, закрыв руками лицо, бросился на доски кузова.

Синцов приказал остановить машину. Немецкий парашют еще болтался высоко над головами, наш летчик уже опустился, и на глаз казалось – недалеко, километра за два в сторону Бобруйска.

– Пойдите в лес, поймайте этого фашиста! – сказал Синцов Люсину. – Возьмите с собой бойцов.

– Живым взять? – деловито спросил Люсин.

– Как выйдет.

Синцову было все равно, живым или неживым возьмут немца, хотелось только одного – чтобы, когда сюда придут другие фашисты, он не встретился с ними!

Обоих раненых – штурмана и сидевшего в кабине красноармейца – выгрузили из машины и положили под деревом: охранять их оставили того бойца с гранатами, которого Синцов снял с поста. «Что бы ни случилось, он не бросит раненых», – подумал Синцов.

Люсин, сержант и остальные красноармейцы пошли в лес ловить немца, а Синцов, взяв с собой летчика и двух милиционеров, погнал машину назад.

Они снова ехали к Бобруйску, напряженно глядя по сторонам, надеясь заметить парашют прямо с машины; им казалось, что он опустился совсем рядом с дорогой.

В это время летчик, которого они искали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой лесной полянке. Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воздухе, он хладнокровно затянул прыжок, но не рассчитал до конца и выдернул кольцо парашюта на секунду позднее, чем следовало. Парашют раскрылся почти у самой земли, и летчик сломал обе ноги и ударился о пень позвоночником. Теперь он лежал возле этого пня, зная, что все кончено: тело ниже пояса было чужое, парализованное, он не мог даже ползти по земле. Он лежал на боку и, харкая кровью, смотрел в небо. Сбивший его «мессершмитт» погнался за беззащитными теперь бомбардировщиками; в небе уже был виден один дымный хвост.

На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. За свою недолгую жизнь он не раз бестрепетно думал о том, что когда-нибудь его могут сбить или сжечь точно так же, как он сам много раз сбивал и сжигал других. Однако, несмотря на его вызывавшее зависть товарищей природное бесстрашие, сейчас ему было страшно до отчаяния.

Он полетел сопровождать бомбардировщики, но на его глазах загорелся один из них, а два других ушли к горизонту, и он уже ничем не мог им помочь. Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором, начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый «фоккер» над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он со злобой и отчаянием думал о том, что, даже если у него достанет сил порвать документы, все равно немцы узнают его и будут расписывать, как они задешево сбили его, Козырева, одного из первых советских асов.

Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа.

Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов.

Полумертвый, изломанный, лежа на земле, не в силах двинуться с места, он сейчас впервые за последние, кружившие ему голову годы чувствовал весь трагизм происшедшего с ним и всю меру своей невольной вины человека, бегом, без оглядки взлетевшего на верхушку длинной лестницы военной службы. Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетающих под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребителе, каждый час рискуя жизнью и все-таки почти ничего не успевая спасти.

Он вспомнил сегодняшнюю предсмертную радиограмму с одного из этих пошедших бомбить переправу и сожженных ТБ-3, которых нельзя, преступно было посылать днем без прикрытия истребителей и которые все же сами вызвались и полетели, потому что разбомбить переправу требовалось во что бы то ни стало, а истребителей для прикрытия уже не было.

Когда на могилевском аэродроме, где он сел, сбив по дороге встретившийся ему в воздухе «мессершмитт», он услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четверых сожгли, сейчас будут жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» – он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух.

Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел бой с «мессершмиттами», и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили.

С первого же дня войны, когда почти все недавно полученные округом новые истребители, МИГи были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая личным примером, что и на этих машинах можно драться с «мессершмиттами». Драться было можно, но трудно, – не хватало скорости.

Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться – попробовать сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее, чтобы не впасть в забытие и не оказаться в плену, не успев покончить с собой.

В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает, как все будет дальше. Да, война застала врасплох; да, не успели перевооружиться; да, и он, и многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшной мысли, что немцы и дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего сегодня

еще двух фашистов к двадцати девяти, сбитым в Испании и Монголии. Если б его не сбили сегодня, он бы им еще показал! И им еще покажут! Эта страстная вера жила в его разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль: «А я уже никогда этого не увижу».

Жена его, которая, как это свойственно мелким душам, преувеличивала свое место в его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было так, и не потому, что он не любил, – он продолжал любить ее, – а просто потому, что он думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не умещалось маленькое и нестрашное в эту минуту горе – никогда не увидеть больше прекрасного лживого лица.

Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном – о войне. И когда он вдруг, в полузабытии, услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фашисты и он должен сначала стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой, он нащупал четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым – спусковой крючок. С трудом оторвав руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав пять выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо. Два милиционера и Синцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки.

Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики: «Свои!» Потом, когда они почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих.

Старший из милиционеров, опустившись на колени и расстегнув карман гимнастерки, испуганно вытаскивал документы погибшего, а потрясенный Синцов молча стоял над ним, держась рукой за простреленный бок, стоял, еще не чувствуя боли, а лишь немоту и кровь, проступившую через гимнастерку. Три дня назад он застрелил человека, которого хотел спасти, а сейчас другой человек, которого он тоже хотел спасти, чуть не убил его самого, а потом застрелился и теперь лежит у его ног, как тот сошедший с ума красноармеец на дороге.

Может быть, летчик принял их за немцев из-за серых прорезиненных милицейских плащей? Но неужели он не слышал, как они кричали: «Свои, свои!»?

Продолжая одной рукой держаться за мокрый от крови бок, Синцов опустился на колени и взял у милиционера все, что тот вынул из нагрудного кармана мертвого. Сверху лежала фотография красивой женщины с круглым лицом и большегубым, припухлым, улыбающимся ртом. Синцов твердо знал, что где-то видел эту женщину, но не мог вспомнить ни когда это было, ни где. Под фотографией лежали документы: партийный билет, орденская книжка и удостоверение личности на имя генерал-лейтенанта Козырева.

«Козырев, Козырев...» – все еще не сопоставляя до конца одно с другим, повторял Синцов и вдруг вспомнил все сразу: не только хорошо знакомое со школьных лет лицо этой женщины – лицо Нади, или, как они звали ее в школе, Надьки Караваевой, но и это изуродованное пулей, знакомое по газетам лицо.

Синцов все еще стоял на коленях над телом Козырева, когда появились прибежавшие сюда на выстрелы летчик с бомбардировщика и шофер. Летчик сразу узнал Козырева. Он сел на траву рядом с Синцовым, молча посмотрел и так же молча отдал документы и, больше удивляясь, чем сокрушаясь, сказал всего одну фразу:

– Да, такие дела... – Потом посмотрел на Синцова, который все еще стоял на коленях, прижимая руку к намокшей гимнастерке. – Что с тобой?

– Стрелял... Наверное, думал, что мы немцы, – кивнул на мертвого Синцов.

– Снимай гимнастерку, перевяжу, – сказал летчик.

Но Синцов, выйдя из оцепенения и вспомнив о немцах, сказал, что перевязаться можно потом, в машине, а сейчас надо отнести к ней тело генерала. Оба милиционера, неловко подсовывая руки, приподняли тело Козырева за плечи, летчик и шофер взяли его за ноги, под коленями, а Синцов шел сзади, спотыкаясь, по-прежнему прижимая рану рукой и чувствуя все усиливающуюся боль.

– Надо тебя перевязать, – повторил летчик, когда положили тело Козырева в кузов грузовика и машина тронулась.

Он торопливо, на ходу грузовика, стянул с себя гимнастерку, потом нательную рубашку и, взявшись за подол ее короткими крепкими пальцами, не обращая внимания на возражения Синцова, быстро разорвал ее на несколько полос.

– Сквозная, заживет, – сказал летчик понимающим тоном, задрав на Синцове гимнастерку и обвязывая его лоскутами своей рубашки. – Доедешь, не помрешь. Давай обратно гимнастерку спусти.

Он обернулся на Синцове гимнастерку и туго подпоясал ниже раны, Синцов охнул.

– Черт его знает, как он тебя... – извиняющимся тоном сказал летчик, взглянув на Синцова, на мертвого Козырева и опять на Синцова.

Через несколько минут они доехали до того места, где оставили раненых.

Штурман был в забытьи, раненный в ногу красноармеец лежал на спине и тяжело и часто дышал. Красноармеец с гранатами сидел возле них.

– А где остальные? – спросил у него Синцов.

– Побежали туда, – красноармеец показал в сторону Могилева. – Ветер туда далеко парашют понес. Наверное, поймали. Выстрелы были, я слышал.

Погрузив обоих раненых и красноармейца, поехали дальше.

Летчик настоял, чтобы Синцов сам сел теперь в кабину.

– На тебе лица нет, не будь... – заботливо выматерился он, и Синцов послушался.

Сзади от времени до времени бухала артиллерия, и иногда с порывами ветра доносилась пулеметная стрельба. Проехав два километра, остановились: Люсина и красноармейцев по-прежнему не было видно.

Синцов, с трудом подавив в себе желание проехать еще хоть немножко дальше, снова прислушался к доносившейся сзади стрельбе и сказал, что придется подождать здесь, пока товарищи, ловившие немца, не выйдут из леса.

Сзади по-прежнему слышалась стрельба. Синцов чувствовал на себе вопросительные взгляды, но, решив прождать пятнадцать минут, сидел и ждал.

– Покричите еще раз, – сказал он, когда минутная стрелка подошла к назначенной черте.

Старший из милиционеров уже в который раз рупором приложил руки ко рту и гулко окликнул лес, но лес по-прежнему молчал.

– Проедем еще дальше, – сказал Синцов.

Но дальше им пришлось проехать совсем мало: через полкилометра их остановил вышедший на дорогу лейтенант в танкистской форме. У него было злое лицо и немецкий автомат на груди. За его спиной из придорожной канавы поднялись еще двое танкистов с винтовками на изготовку.

– Стой! Кто такие? – Лейтенант рывком открыл дверь кабины.

Синцов ответил, что он из редакции фронтовой газеты, а сейчас ищет своих людей, которые пошли ловить немецкого летчика.

– А что это за ваши люди, сколько их?

Синцов сказал, что их семеро: младший политрук, сержант и пять бойцов. Почему-то, еще сам не зная почему, он начинал чувствовать себя виноватым.

– Вот-вот, мы их задержали, а они на вас и ссылаются, как вы им дезертировать помогали! – ядовито усмехнулся лейтенант. – А ну, давайте машину с дороги, и к нашему капитану – там разберемся, кто наши, кто ваши и кто вы сами!

Эти слова разозлили Синцова, но все нараставшее чувство своей неосознанной вины удержало его от вспышки. Вместо него взорвался перегнувшийся из кузова летчик.

– Эй, ты, – заорал он на лейтенанта, – поди сюда! Тебе майор говорит! Поди сюда, сунь нос!

Лейтенант смолчал, зло поигрывая желваками, подошел к борту машины и заглянул внутрь. То, что он увидел там, если не переубедило, то смягчило его.

– Проезжайте сто метров, там съезд в лес будет, свернете! – хмуро, как бы подчеркивая, что ему не в чем извиняться, сказал он Синцову. – Я все равно имею приказ никого не пропускать...

– Портнягин! – окликнул он одного из своих танкистов. – На крыло, проводи до капитана! Стой! – снова задержал он уже тронувшийся грузовик. – Бойцы, из кузова на землю! Здесь останетесь!

Оба милиционера и красноармеец с гранатами выпрыгнули из кузова. Тон приказа не располагал к проволочкам.

– Давай! – махнул лейтенант не столько Синцову, сколько своему стоявшему на подножке танкисту.

Когда грузовик, с треском надламывая своей тяжестью наваленные в кувет ветки, съехал в лес, Синцов увидел две 37-миллиметровые пушки, спрятанные в кустах и повернутые стволами к шоссе. Возле пушек друг против друга, раскинув ноги, сидели два бойца, рядом с ними лежали горка гранат и моток телефонного провода; они связывали гранаты.

Петляя между деревьями, грузовик выехал на маленькую полянку, полную людей. Здесь стояла полуторка, в кузове которой лежали ящики патронов и гора винтовок, рядом с нею стоял закиданный еловыми лапами связной броневилок.

Старшина-танкист, отрывисто подавая команды, строил, вздваивал, поворачивал «кругом!» сорок красноармейцев с винтовками. Мелькнули знакомые лица бойцов, ехавших с Синцовым в машине.

У броневилок, облокотившись на ящик полевого телефона, сидел на земле капитан-танкист в шлеме и повторял в трубку:

– Слушаю. Слушаю. Слушаю...

Рядом с ним сидел еще один танкист, тоже в шлеме, а сзади них, переминаясь с ноги на ногу, стоял Люсин.

– Когда же, спрашивается, они связь дотянут? – кладя трубку и вставая, спросил капитан.

Он прекрасно видел и подъехавшую машину, и уже успевших вылезти из нее Синцова и летчика, но задал свой вопрос так, словно никого не видел, и только после этого вцепился глазами во вновь прибывших.

– Я помощник по тылу командира Семнадцатой танковой бригады, а вы кто? – сбив все в одну фразу, отрывисто спросил он.

Хотя он отрекомендовался помощником по тылу, вид у него был совсем не тыловой. Надетый на рослое тело грязный, порванный комбинезон был прожжен на боку, кисть левой руки до пальцев замотана бинтом с запекшейся кровью, на груди висел такой же немецкий автомат, как у лейтенанта, а лицо было давно не бритое, черное от усталости, с грозно горевшими глазами.

– Я... – первым начал летчик, но вид его слишком ясно говорил, кто он.

– С вами ясно, товарищ майор, – жестом прервал его капитан. – Со сбитого бомбардировщика?

Летчик угрюмо кивнул.

– А вот вы предъявите документы! – Капитан сделал шаг к Синцову.

– Я же вам говорил, – подал голос стоявший сзади капитана Люсин.

– А вы молчите! – не поворачиваясь к нему, через плечо отрезал капитан. – С вас свой спрос! Предъявите документы! – еще грубее повторил он Синцову.

– А вы сначала сами предъявите мне документы! – вспыхив от явного недружелюбия капитана, крикнул Синцов.

– Я в расположении своей части предъявлять документы никому не обязан, – в противоположность Синцову неожиданно тихо сказал капитан.

Синцов вытащил свое удостоверение личности и отпускной билет, только сейчас вспомнив, что не успел получить новых документов в редакции. Почувствовав неуверенность, он стал объяснять, как это вышло, но от этого его неуверенность только усилилась.

– Малопонятные документы, – возвращая их Синцову, хмыкнул капитан. – Но, положим, все так, как вы говорите. А зачем вы людей с переднего края в тыл за собой тащите, кто вам на это права дал?

Еще с той минуты, как нечто подобное сказал ему лейтенант на шоссе, Синцов жаждал поскорей объяснить, что это недоразумение. Он стал рассказывать, как к машине выскочили бойцы, как он их взял с собой, чтобы спасти, как потом взял еще одного красноармейца. Но, к его удивлению, оказалось, что капитан вовсе не считает все происшедшее недоразумением. Наоборот, он именно это и имеет в виду:

– У страха глаза велики! Одним снарядом с танка сразу десять человек свалить, да еще в лесу?.. Враки! Попадали со страха, а старший по команде, вместо того чтобы собрать людей, половину бросил, а сам дал стрелка по шоссе. А вы уши развесили! Так сколько хочешь можно в тыл увезти: одни напугались, другие свою часть в тылу ищут... Надо свои части впереди искать, там, где противник! – Капитан выругался и, облегчив душу, уже спокойнее сказал, махнув рукой на старшину, занимавшегося с бойцами: – Вон там их в чувство приводят! Приведем – и в бой поведем! А в Могилев каждого паникера возить – в тылу их и без того хватает! Нам люди тут нужны, мне командир бригады приказал к вечеру сколотить триста человек пополнения из тех, кто по лесам шляется, и я их сколочу, будьте покойны! И вашего младшего политрука возьму, и вас, – неожиданно с вызовом добавил капитан.

– Он в бок ранен, – угрюмо, как все, что он говорил, кивнув на Синцова, сказал летчик. – Ему в госпиталь надо ехать.

– Ранен? – переспросил капитан, и в глазах его было недоверчивое желание заставить раздеться и показать рану.

«Не верит», – подумал Синцов, и душа его похолодела от обиды.

Но капитан теперь уже и сам увидел темное пятно на гимнастерке Синцова.

– Доложите своему политруку, – повернулся он к Люсину, – почему вы отказываетесь остаться и идти в бой. Или вы тоже ранены, но от меня скрывали?

– Я не ранен! – неожиданно визгливо выкрикнул Люсин, и его красивое лицо оскалилось. – И я ни от чего не отказываюсь. Я на все готов! Но у меня есть задание редактора поехать и вернуться, и я без приказа своего старшего по команде не могу своевольничать!

– Ну, как вы ему прикажете? – спросил капитан Синцова. – Положение у нас тяжелое, вот у меня на всю группу даже ни одного политработника нет. Вчера сами из окружения вышли, а сегодня уже пхнули чужую дыру затыкать. Пока я тут людей собираю, там, на Березине, бригада последние головы кладет!

– Да, конечно, оставайтесь, товарищ Люсин, раз хотите, – простодушно сказал Синцов. – Я бы тоже... – Он поднял глаза на Люсина и, только встретившись с ним глазами, понял, что тот вовсе не хотел оставаться и ждал от него совсем других слов.

– Ну, теперь все, – сказал капитан и строго, в упор повернулся к Люсину: – Идите к старшине, принимайте вместе с ним команду над группой.

– Только вы доложите редактору про это самоуправство и что вы тоже... – крикнул Люсин в лицо Синцову, но не успел закончить фразу, потому что капитан с силой повернул его своей перевязанной рукой и подтолкнул вперед.

– Доложит, не беспокойся! Иди выполняй приказание. Ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться – жизни лишу.

Люсин пошел, горбя плечи, за одну минуту перестав быть стройным и молодцеватым военным, которым он казался до этого, а Синцов, почувствовав непреодолимую слабость, опустился на землю.

Капитан удивленно посмотрел на Синцова, потом, вспомнив, что политрук ранен, хотел что-то сказать, но телефон издал слабый писк, и он схватился за трубку.

– Слушаю, товарищ подполковник! Одну группу отправил по старому маршруту. Вторую сформировал. Куда? Сейчас отмечу. – Он вытащил из-за пазухи комбинезона сложенную вчетверо карту и, поискав глазами какой-то пункт, сделал резкую отметку ногтем. – Так точно, стоят в засаде. – Синцов понял, что он говорит о пушках у шоссе. – И гранаты на случай связали. Не пустим!

Капитан замолчал и целую минуту слушал что-то со счастливым выражением лица.

– Ясно, товарищ подполковник, – сказал он наконец. – Вполне ясно. А у нас как раз тут... – Он хотел что-то рассказать, но, очевидно, на другом конце провода его оборвали. – Есть закончить разговоры! – сказал он смущенно. – У меня тоже все.

Он положил трубку на ящик, встал и поглядел в лицо летчику с таким выражением, словно в его силах было сказать что-то радостное этому человеку, у которого только что сгорела машина и на глазах погибли товарищи. И это так и было, он и сказал то единственное, что еще могло сейчас порадовать летчика:

– Подполковник говорит, что вряд ли сегодня можно ожидать прорыва по шоссе. Немцы только небольшую часть танков переправили. Остальных вы за Березиной остановили. Мост в прах разбит, следов не видно.

– Мост в прах, и нас в прах – гордиться нечем! – отрезал летчик, но по его лицу было видно, что он все-таки гордится этим мостом.

– А как вы горели! Мы кулаки зубами рвали! – сказал капитан. Ему хотелось утешить летчика. – Немец тут упал, хотел его живым взять, да где там, разве можно на это людей уговорить после всего, что видели!

– А где он? – с трудом поднимаясь, спросил Синцов.

– Здесь, за елками лежит, да лучше на него не смотреть, – махнул рукой капитан. – Как под танком побывал... – И, посмотрев на бледного от потери крови Синцова, добавил: – Поезжайте, раз вы ранены, я не держу.

– У нас там еще двое раненых в кузове лежат, – словно все еще оправдываясь, сказал Синцов. – И убитый. – Он хотел сказать, что убитый – генерал, но не сказал: к чему? – Пошли, – обратился он к летчику.

– Я, пожалуй, здесь останусь, – сказал тот неторопливо и решительно: он думал об этом все время, пока шел разговор, наконец решил и уже не собирался передумывать. – Винтовку дашь? – спросил он капитана.

– Не дам, – мотнул головой капитан. – Не дам, дорогой сокол! Ну куда ты мне и что это даст? Иди туда, – он ткнул забинтованной пятерней в небо. – От самого Слуцка пятимся,

каждый день мучаемся, что вы мало летаете. Иди летай, ради бога, – все, что от тебя требуется! Остальное сами сделаем!

Синцов остановился у машины, ожидая, чем все это кончится.

Но слова капитана мало тронули летчика. Будь у него надежда получить взамен сбитой новую машину, он бы и сам не остался здесь, но этой надежды у него не было, и он решил драться на земле.

– Не даст винтовки – сам достану, – сказал он Синцову, и Синцов понял, что тут нашла коса на камень. – Поезжай, только штурмана в госпиталь доставь по-хорошему.

Танкист промолчал. Когда Синцов сел в кабину, они продолжали молча стоять рядом, танкист и летчик: один – большой, высокий, другой – маленький, коренастый, оба упрямые, злые, раздосадованные неудачами и готовые снова драться.

– А как ваша фамилия, товарищ капитан? – уже из кабины спросил Синцов, впервые за все время вспомнив о газете.

– Фамилия? Жаловаться, что ли, на меня хочешь? Зря! На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши. Или так запомнишь?

Когда машина выезжала из лесу на шоссе, Синцов еще раз увидел снятого им с поста красноармейца; он сидел рядом с двумя другими бойцами и занимался тем же, чем и они: связывал гранаты телефонным проводом по три и по четыре вместе.

До Могилева ехали больше двух часов. Сначала сзади слышалась артиллерийская канонада, потом стало тихо. Не доезжая десятка километров до города, Синцов увидел пушки на конной тяге, разъезжавшиеся на позиции – влево и вправо от дороги, и двигавшуюся по шоссе колонну пехоты. Он ехал как в тумане; ему казалось, что он хочет спать, а на самом деле он время от времени терял сознание и снова приходил в себя.

Над окраиной Могилева высоко в небе барражировали два истребителя. Судя по тому, что зенитки молчали, истребители были наши. Вглядевшись, Синцов узнал МИГи: он видел эти новые машины еще весной в Гродно. Про них говорили, что они намного превосходят по скорости «мессершмитты».

«Нет, все еще не так плохо», – сквозь усталость и боль подумал Синцов, сам не вполне отдавая себе отчет в том, что уверенность эта у него не столько от вида войск, занимавших позиции перед Могилевом, или зрелища барражирующих над городом МИГов, сколько от воспоминания о задержавших его машину танкистах, о лейтенанте, похожем на своего капитана, и о капитане, наверное похожем на своего подполковника.

Когда полуторка остановилась у госпиталя, Синцов в последний раз собрался с силами: держась за борт, он дождался, пока из кузова вынесли бесчувственного штурмана, стонавшего сквозь сжатые зубы красноармейца и мертвого генерала. Потом он приказал шоферу ехать в редакцию и доложить, что он остался в госпитале.

Шофер закрыл задний борт. Синцов, взглянув на залитые кровью пачки газет, вспомнил, что они так почти ничего и не раздали, и остался один на булыжной мостовой.

В приемный покой он вошел еще сам. Вынул из кармана и положил на стол документы генерала, потом полез за своим удостоверением, достал его, протянул сестре и, дожидаясь, когда она его возьмет, странно повернулся боком и, потеряв сознание, упал на пол.

Глава третья

Через две недели после ранения, когда Синцов уже по два раза на дню гулял в госпитальном саду, пришло приказание эвакуировать госпиталь в Дорогобуж. Среди раненых сразу же распространился слух, что немцы переправились через Днепр у Шклова и обходят Могилев с севера.

Ранение, как выразился врач, оперировавший Синцова, было «удачным»: пуля скользнула по ребрам.

Синцов, чувствуя себя почти поправившимся, пошел к замполиту госпиталя просить о выписке. Перспектива эвакуации пугала его. Он не хотел потом еще раз искать свою редакцию.

– Сдается мне, что они уже уехали, – усомнился замполит.

Но Синцов твердо сказал, что этого не может быть. Если б уехали, они забрали бы его с собой, так обещал ему редактор.

По горло занятый эвакуацией раненых, замполит не стал настаивать: в конце концов раз хочет выписываться – пусть выписывается!

К полудню, получив документы и обмундирование, Синцов вышел из ворот госпиталя.

В Могилеве было пустовато и тревожно: на улицах появились баррикады, в заложенных мешками угловых окнах домов стояли пулеметы.

У здания могилевской типографии, где Синцов рассчитывал застать редакцию, стоял не расположенный к разговорам часовой. И двери и железные ворота во двор были наглухо заперты. Изнутри не доносилось не только шума машин, но вообще ни одного звука; все как вымерло.

Через час могилевский военный комендант, тот же самый майор, у которого Синцов был две недели назад, только еще больше обалдевший от бессонницы, подтвердил, что редакция фронтовой газеты уехала два дня назад. «Даже известить не могли», – подумал расстроенный Синцов.

– А куда уехали?

Комендант пожал плечами и сказал, что маршрута ему не докладывали. Штаб фронта переместился в район Смоленска, вслед за ним уехала и редакция.

– Зря раньше времени выписались. Эвакуировались бы с госпиталем в Дорогобуж, а оттуда нормальным порядком искали бы то, что вам надо.

Несладкое предчувствие новых скитаний охватило Синцова.

– Слушайте, а какие вообще части стоят в районе Могилева?

– А зачем вам?

Синцов ответил, что хочет попасть в штаб ближайшей дивизии, побыть в ней и собрать материал для газеты, чтоб потом добираться до редакции, по крайней мере, не с пустыми руками.

Комендант нехотя развернул карту и показал небольшой лесочек на той стороне Днепра, километрах в шести от могилевского моста. Здесь, по его словам, стоял штаб 176-й дивизии.

Уже перейдя мост через Днепр и сделав три километра по шоссе Могилев – Орша, Синцов услышал позади, за Днепром, артиллерийскую стрельбу. Он несколько минут постоял на шоссе, прислушиваясь к тревожным гулам артиллерии, и снова зашагал, продолжая думать все о том же самом, о чем начал думать, выйдя из могилевской комендатуры: что же дальше?

Был штаб фронта под Минском, потом под Могилевом, теперь переехал под Смоленск – это, значит, еще на сто пятьдесят километров ближе к Москве...

Как ни заставляй себя думать об этом спокойно, сама география бьет молотком по голове.

Две недели госпиталя многому научили Синцова. Какие только слухи не бросали его за эти дни из горячего в холодное и обратно! Если верить одному только плохому, давно можно

было бы спятить с ума. А если собирать в памяти только хорошее, в конце концов пришлось бы ущипнуть себя за руку: да полно, почему же тогда я в госпитале, почему в Могилеве, почему все так, а не иначе? Сначала Синцову казалось, что правда о войне где-то посередине. Но потом он понял, что и это не правда. И хорошее и плохое рассказывали разные люди. Но они заслуживали или не заслуживали доверия не по тому, *о чем* они рассказывали, а по тому, *как* рассказывали.

Все, кто был в госпитале, так или иначе прикоснулись к войне, иначе они бы не попали сюда. Но среди них было много людей, которые знали пока только одно – что немец несет смерть, но не знали второго – что немец сам смертен.

И наибольшего доверия среди всех остальных заслуживали те люди, которые знали и то и другое, которые убедились на собственном опыте, что немец тоже смертен. Что бы они ни рассказывали – хорошее или дурное, за их словами всегда стояло это чувство, – это и была правда о войне.

Капитан-танкист, от которого Синцов получил урок в лесу под Бобруйском, был именно из таких людей.

Дело было не в храбрости одного или трусости другого. Просто капитан в тот день глядел на войну другими глазами, чем Синцов. Капитан твердо знал, что немцы смертны и, когда их убивают, они останавливаются. Думая так, он подчинял этому все свои действия, и, конечно, правда была на его стороне. Синцов хотел увезти от опасности бросившихся к нему за спасением людей. Капитан хотел спасти дело, бросив этих людей в бой.

И, конечно, немцы не прорвались тогда к Могилеву именно потому, что и остатки бригады, в которой служил капитан, и все, кто с оружием в руках сбил в тот день вокруг бригады, знали, а кто не знал, узнали в бою, что немцы смертны. Убивая немцев и умирая сами, они выиграли сутки: к вечеру за их спиной развернулась свежая стрелковая дивизия.

Об этом рассказал Синцову редактор, приехавший на второй день навестить его.

Редактор, узнавший о поездке к Бобруйску из уст шофера, хвалил Синцова, тревожился за Люсина и ругал танкиста за самоуправство. У него даже проступили свекольные жилки на дрыгавших от гнева добрых, толстых щеках.

Синцов не разделял чувств редактора. Он знал, что сделал в тот день много глупого, хорошо еще, что его поступки не были продиктованы трусостью. Вдобавок, как всякий, кто лежит в госпитале, часто думая о своем ранении, он не мог отмахнуться от горькой мысли, что летчик мог бы не застрелиться, если б не эти проклятые серые милицейские плащи, похожие на немецкую форму. Он не подумал об этом тогда, а на войне надо думать. И, очевидно, все время.

Не мог он разделить гневных чувств редактора и в истории с Люсиным. Младший политрук Люсин поехал развозить газету, а попал в бой. Ну и что ж, этого могло и не быть, но вышло так. Синцова тревожило только воспоминание о вдруг оскалившемся лице Люсина. Люсин не хотел оставаться, а танкист сказал: «Не подчинишься – жизни лишу!» Чем все это кончилось?

Он попробовал высказать свои мысли редактору, но в ответ услышал:

– Что ж, прикажете мне всех вас в части раздать? Сегодня Люсина, завтра вас, послезавтра еще кого-нибудь?

Последнее было в общем верно, а в частности, когда Синцов вспоминал тот лес, ту минуту и того капитана, казалось, наоборот, совсем неверным.

Он и редактор проговорили целый час, но, кажется, так и не поняли друг друга.

А еще через несколько часов произошло событие, надолго вытеснившее все другие мысли и чувства.

Синцов слышал по радио речь Сталина.

Громкоговоритель висел в коридоре, рядом со столиком дежурной сестры. Его пустили на всю громкость, а в палатах настежь открыли двери.

Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. Один раз, посредине речи, было слышно, как он, звякнув стаканом, пьет воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог показаться совершенно спокойным, если б не тяжелое усталое дыхание и не эта вода, которую он стал пить во время речи.

Но, хотя он волновался, интонации его речи оставались размеренными, глуховатый голос звучал без понижений, повышений и восклицательных знаков. И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла: от Сталина и ждали ее.

Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь и побаиваясь; иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны.

Сталин не называл положение трагическим: само это слово было трудно представить себе в его устах, – но то, о чем он говорил, – ополчение, оккупированные территории, партизанская война, – означало конец иллюзий. Мы отступили почти повсюду, и отступили далеко. Правда была горькой, но она была наконец сказана, и с ней прочней стоялось на земле.

А в том, что Сталин говорил о неудачном начале этой громадной и страшной войны, не особенно меняя привычный лексикон, – как об очень больших трудностях, которые надо как можно скорее преодолеть, – в этом тоже чувствовалась не слабость, а сила.

Так, по крайней мере, думал Синцов, лежа ночью на койке и под стоны умиравшего соседа снова и снова вспоминая во всех подробностях речь Сталина и пронзившее душу обращение: «Друзья мои!», которое потом целый день повторял весь госпиталь.

Обычно такие вопросы задают себе в юности, но Синцов впервые задал его себе в тридцать лет, в эту ночь на госпитальной койке: «Как, отдал бы я свою жизнь за Сталина, если б мне вот просто так пришли и сказали: умри, чтобы он жил? Да, отдал бы, и сегодня проще, чем когда-нибудь!»

«Друзья мои...» – повторяя слова Сталина, прошептал Синцов и вдруг понял, что ему уже давно не хватало во всем том большом и даже громадном, что на его памяти делал Сталин, вот этих сказанных только сегодня слов: «Братья и сестры! Друзья мои!», а верней – чувства, стоявшего за этими словами.

Неужели же только такая трагедия, как война, могла вызвать к жизни эти слова и это чувство?

Обидная и горькая мысль! Синцов сразу же испуганно отмахнулся от нее, как от мелкой и недостойной, хотя она не была ни той, ни другой. Она просто была непривычной.

Главным же, что осталось на душе после речи Сталина, было напряженное ожидание перемен к лучшему. И это ожидание как будто начало оправдываться даже скорей, чем думалось, – в первую же неделю.

В сводках каждый день стали повторяться все одни и те же направления, на которых шли ожесточенные бои. Это вызывало повышенное доверие потому, что среди других направлений фигурировало Бобруйское. А на нем немцы действительно уже несколько дней топтались на месте: госпиталь имел об этом сведения из первых рук. Но потом в госпитальном воздухе потянуло тревогой. Сначала прошел слух, что немцы, не пробившись к Могилеву, повернули от Бобруйска на Рогачев и Жлобин и взяли их. Затем к Синцову вдруг заехал на минуту редактор, спросил о здоровье, сказал, что если редакция будет переезжать, то его возьмут с собой, и уехал с поспешностью человека, не желающего отвечать на вопросы. Наконец в день получения приказа об эвакуации госпиталь заговорил о том, что немцы перешли Днепр у Шклова.

Сейчас Синцов шагал по обочине шоссе, шедшего вдоль Днепра, на север, к этому самому Шклову, и думал о правдивости утренних слухов.

Если они, к несчастью, правдивы, то становился понятным отъезд редакции из оставшегося за Днепром Могилева. Непонятным было другое: неужели у них при этом не нашлось десяти лишних минут, чтобы сдержать слово и забрать его, Синцова, из госпиталя?

Могилев и сейчас, через два дня после отъезда редакции, не производил впечатления города, который собираются сдавать. Почему же такая спешка? Обида только укрепляла Синцова в решении не возвращаться в редакцию без хорошего, боевого материала.

Слабость после ранения уже давала себя знать, а на седьмом километре, там, где, по словам коменданта, должен был стоять штаб дивизии, в лесу виднелись только следы машин, ямы в глинистой земле и ветки наспех разбросанной маскировки. Если тут и стоял штаб, то, судя по этим вялым веткам, он уехал, по крайней мере, сутки назад. Мимо вернувшегося на шоссе Синцова проскочили три грузовика с прицепленными к ним противотанковыми пушками, потом колонна с боеприпасами и еще один грузовик с пушкой. Синцов нерешительно поднял руку, но ни одна машина не остановилась.

Потом мимо пронеслась «эмочка». Синцов уже подумал, что и она не остановится, но она проехала сто метров и стала. Синцов, тяжело дыша, подбежал к ней.

– Что вам, товарищ политрук? – спросил его сидевший рядом с шофером маленький плотный батальонный комиссар, краснолицый, седобровый, в толстых двойных очках.

Синцов объяснил, что ищет штаб 176-й дивизии. Батальонный комиссар, прежде чем ответить, с малообнадеживающим видом попросил предъявить документы.

«Не возьмет», – подумал Синцов. Но лицо батальонного комиссара, прочитавшего госпитальную справку, смягчилось.

– В Сто семьдесят шестой я тоже должен быть, – сказал он, возвращая справку, – но завтра, а сейчас еду в Триста первую. Могу подвезти туда.

Синцова это устраивало. Он поблагодарил и влез в машину. Они проехали молча с километр, потом батальонный комиссар остановил машину и пересел на заднее сиденье.

– Так веселей будет, – объяснил он, когда они снова поехали. – А то разговаривать – все время головой вертеть, а не разговаривать я не умею, – мягко улыбнулся он и протянул Синцову руку. – Шмаков.

Шмаков и в самом деле оказался разговорчивым человеком. Задавая свои быстрые вопросы, он забавно, по-птичьи, клал свою белую голову на левое плечо и через очки с внимательным доброжелательством посматривал на Синцова, как бы приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, что вы мне такого интересного скажете?» А когда говорил сам, все время снимал очки, протирал их, прежде чем надеть, внимательно смотрел на свет, найдя пылинку, снова протирал и снова смотрел на свет; глаза его без толстых очков были совсем больные, красные, с припухшими веками.

Синцов отвечал на вопросы неохотно, не вдаваясь в особые подробности: что на войне с шестого дня, что был в разных местах, а ранен под Бобруйском при случайных обстоятельствах. Кажется, Шмаков быстро понял, что у его собеседника смутно на душе, он перестал расспрашивать Синцова и заговорил о себе: что призван в армию всего неделю, приехал на фронт вчера как лектор ПУРККА и это его первая поездка в части.

– И какие же вы лекции будете читать здесь, на фронте? – спросил Синцов, подумав про себя, что лично ему уже поздно слушать теперь лекции.

– Вообще-то я по специальности экономист. – Шмаков не заметил или не пожелал заметить иронии, прозвучавшей в вопросе Синцова. – А темы разные: «Война и международная обстановка», «Военно-экономический потенциал Германии» – ну, и, конечно, более общие темы.

– А военное образование у вас есть? – спросил Синцов.

– Как вам ответить? – Шмаков снова протер очки и внимательно посмотрел их на свет, словно заглядывая куда-то далеко, в прошлое. – Как многие коммунисты моего возраста, был

когда-то, в гражданскую войну, политработником. А впрочем, строго говоря, это скорее опыт, чем образование.

«Да, опыт, – горько подумал Синцов. – Что-то пока не видно, чтобы нам помогал этот опыт. Немцы не белые, а Гитлер не Деникин...» И с яростью вспомнил прочитанный два года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу разлеталась в пух и прах вся фашистская Германия. Этого бы автора две недели назад на Бобруйское шоссе!

Все эти мысли разом пронеслись у него в голове, но он ничего не сказал вслух, а только вздохнул.

– Тяжело вам пришлось? – услышав этот вздох, чутко спросил Шмаков.

– Мне-то что! – искренне ответил Синцов. – А вообще до того иногда тяжело... – И, почувствовав доверие к сидевшему рядом с ним маленькому седому человеку, горестно махнул рукой.

– Ничего, – сказал Шмаков и даже чуть притронулся к рукаву Синцова, словно успокаивая его. – Понемногу сдерживаем, потом остановим, создадим перелом; бывало и хуже: Юденич под Петроградом, Деникин Орел взял, на Москву шел... Ничего, в конце концов переломили.

– У Деникина авиации и танков не было, – вырвалось у Синцова.

– Верно, или, точнее, почти верно, – согласился Шмаков, снова не заметив или сделав вид, что не замечает его настроения, – но и у нас многого не было из того, что есть сейчас: пятилеток не было, четырех миллионов коммунистов не было...

«Чего он меня агитирует?» – подумал Синцов с раздражением. Его душа искала успокоения, но противилась соблазну слишком легко принимать на веру то, что могло ее успокоить.

– Конечно, – помолчав, сказал Шмаков, – мы перед войной и хвастались, и кое-что преувеличивали, в том числе свою готовность к войне, – это теперь совершенно ясно. Но это не значит, что мы должны броситься в другую крайность и под влиянием первых неудач преуменьшить свои потенциальные силы. Они у нас громадны и до конца не учтены даже нами, а уж тем более немцами. Я говорю об этом вполне уверенно, потому что знаю вопрос.

– Да что же преуменьшать? – сказал Синцов. – Разве кому-нибудь из нас охота преуменьшать? Просто навидался всякого, и петь «Все хорошо, прекрасная маркиза...» что-то неохота.

– Да, песня, прямо скажем, не большевистская, – рассмеялся Шмаков, – а мы большевики, пора с ней кончать.

– Вы давно из Москвы? – подумав о Маше, спросил Синцов.

– Три дня.

– Бомбили?

– Нет.

– Правда?

– Я вообще имею привычку говорить только правду, – ответил Шмаков неуловимо изменившимся голосом и посмотрел сквозь очки прямо в глаза Синцову.

– А почему не бомбят, как по-вашему?

– Потому что на все сил не хватает. Бросили всю авиацию на фронт, а на Москву летать – не хватает.

– Так уж и не хватает?

– Не хватает. И вообще не надо представлять себе, что у немцев неисчерпаемые силы: некоторые из нас уже кинулись в эту крайность – и зря! От нее недалеко до паники, а для паники у нас нет причин, да и не в нашем она характере, хотя в семье не без урода, – заключил Шмаков все с той же твердой нотой в своем мягком голосе.

И, хотя все сказанное сейчас Шмаковым очень походило на косвенный выговор, Синцов с благодарностью посмотрел на него. В словах Шмакова чувствовалась убежденность, далекая от незнания истинного положения вещей.

– Значит, спокойно в Москве? – спросил он вслух.

– Как сказать! – Шмаков пожал плечами. – Навоз, конечно, всплывает. А в целом, – подумав, подытожил он, – нормально. – И, словно еще раз прикидывая, совершенно ли честно ответил, опять задумался и повторил: – Да, нормально!

Едва он сказал эти слова, как навстречу их машине с бешеной скоростью промчалось несколько грузовиков. В последнем, до пояса высунувшись из кабины, ехал всклокоченный человек без фуражки и оглушительно кричал:

– Там танки, танки!

Шофер, не останавливая машины, вопросительно повернулся к Шмакову; лицо у него было испуганное.

– Поехали, – спокойно сказал Шмаков, – нам еще километр до штаба дивизии. Паника какая-то, не может быть...

Синцов промолчал. Нежелание показать себя осторожней этого человека пересилило здравый смысл.

– Не может быть, – через полкилометра повторил Шмаков. – Мне сказали, что наши войска держат оборону по всему Днепру, откуда же на этой стороне могут быть немецкие танки?

Синцов снова промолчал. «Откуда могут быть? – подумал он. – А черт их знает, откуда они могут быть!»

– Вот где-то здесь, направо, должен быть поворот к штабу дивизии, – сказал Шмаков, близоруко приближая к самым глазам планшет с засунутой под целлулоид картой. У него была непоколебимая уверенность впервые ехавшего на фронт человека, что все находится именно там, где это отмечено на карте. – Сейчас остановимся, посмотрим, наверно, есть какой-нибудь указатель.

Но не успел он приказать шоферу остановиться, как тот затормозил сам. Вдалеке, прямо на дороге, один за другим начали рваться снаряды. Дорога, которая до этого была почти пуста, оказалась сразу загромажденной машинами: одни неслись навстречу, другие, подошедшие сзади, поспешно разворачивались. Шофер «эмки», не ожидая приказаний, тоже стал разворачивать машину и вдруг при новом грохоте снаряда ринулся из машины в кювет.

Синцов распахнул уже дверцу, чтоб выскочить и вернуть шофера, но Шмаков вышел из положения проще.

– Сидите, – спокойно удержал он Синцова за плечо и сам, быстро пересев за руль, развернул «эмку» и поставил ее на обочину. Он сделал это как раз вовремя: еще несколько секунд – и их бы смяли несшиеся без оглядки грузовики.

– А теперь вылезем. – Шмаков подошел к кювету и окликнул лежавшего там шофера по фамилии: – Товарищ Солодилов!

Шофер поднялся, испуганно моргая.

– Идите садитесь за руль, – приказал Шмаков.

Шофер понуро вернулся в машину, а Шмаков, не садясь, как-то странно затоптался возле нее на месте, поглядывая вперед, туда, где продолжали рваться снаряды.

Синцов испытал знакомое чувство неприкаянности.

– Слушайте, товарищ батальонный комиссар, – сказал он, преодолевая нежелание первым заговорить о том, что нужно ехать обратно, – давайте вернемся километра на два – на три. Я видел: там по обочинам стоят противотанковые орудия. Найдем кого-нибудь из командиров и узнаем, можно ли проехать в Триста первую.

Говоря так, он боялся, что Шмаков, показавшийся ему при внешней мягкости упрямым человеком, не согласится и они поедут вперед, в неизвестность. Но Шмаков, выслушав его и посмотрев на стоявший впереди над дорогой дым, сел в машину.

– Понимаете, даже нагана нет, не удосужились выдать, – сказал он, словно оправдываясь в том, что согласился поехать назад.

«Как же, очень помог бы тебе твой наган!» – подумал Синцов, забыв о том, как сам нервничал в первый день без оружия.

– Значит, командиров бросили, а сами сбежали, – сказал Шмаков, облачаясь о спинку переднего сиденья и сбоку заглядывая в лицо шоферу.

– Что же, судите, раз виноват, – глухо ответил тот, не поворачиваясь.

– Что ж вас судить, просто стыдно – и все. Вы комсомолец?

– Комсомолец, – так же глухо сказал шофер.

– Тем более стыдно, – сказал Шмаков. – У меня сын комсомолец, я бы от стыда сгорел, если б узнал, что он поступил так, как вы.

– А где он, ваш сын? – тихо спросил шофер, и Синцов понял, что все предыдущие слова Шмакова будут для шофера пустым звуком, если Шмакову придется ответить, что сын его где-то в тылу.

– Мой сын был летчиком, бортстрелком. Он убит неделю назад. А что?

– Ничего, – совсем тихо сказал шофер.

– Стоп! – воскликнул Синцов, следивший за дорогой.

Они остановились у поставленного в кювете противотанкового орудия, которое издали казалось выползшим из леса на шоссе островком кустарника. Рядом с орудием сидел полковник без фуражки, с коротко остриженной седой головой и пил чай из термоса.

– Продерните машину на двести метров дальше, – вместо приветствия сказал он, когда Шмаков и Синцов вылезли из машины, – а потом будем разговаривать!

Шмаков приказал шоферу проехать вперед и, кивнув на север, показал полковнику, что там, километрах в четырех, немцы обстреливают шоссе.

– Очень может быть, – сказал полковник, вставая и завинчивая термос.

Выслушав этот спокойный и, как показалось Синцову, насмешливый ответ, Шмаков спросил, не знает ли товарищ полковник, где находится штаб хоть какой-нибудь дивизии.

– Штаб хоть какой-нибудь дивизии? – все так же насмешливо переспросил полковник. Он надел фуражку и, застегнув на термосе брезентовый чехол, повесил его через плечо. – Если хоть какой-нибудь, так поедemте в нашу.

– А какая ваша? – спросил Шмаков.

– А вы кто будете?

Шмаков предъявил удостоверение. Полковник мельком заглянул в него и сказал, что он начальник артиллерии 176-й дивизии, проверял здесь противотанковую оборону и едет обратно в штаб.

– А как проехать в Триста первую? – сейчас же спросил Шмаков.

Полковник пожал плечами и сказал, что штаб 301-й был километрах в восьми к северу, но раз дорогу обстреливают немцы, то до выяснения обстановки туда, пожалуй, нет смысла ехать. И в этом «пожалуй» опять проскользнула спокойная насмешка.

– А мне говорили, что штаб Триста первой ближе, в четырех километрах отсюда, – сказал дотошный Шмаков.

Полковник снова пожал плечами.

– Когда говорили и где говорили?

– В политотделе армии, вчера.

– Поменьше верьте тому, что вам говорили вчера, товарищ батальонный комиссар, не то без учета фактора времени проведете остаток дней в плену. А с белой головой, как у меня и у вас, попасть в плен уж вовсе глупо. Вы тоже лектор? – полуобернулся полковник к Синцову.

– Нет, я из фронтовой газеты.

– А... – без всякого выражения сказал полковник и зашагал к машине длинными, журавлиными ногами в хромовых сапогах со шпорами.

Синцов, Шмаков и сопровождавший полковника капитан – командир дивизиона, – еле поспевая, пошли за ним.

– Скажите коноводу, – садясь на переднее сиденье машины, обратился полковник к капитану, – чтобы привел мою лошадь к штабу.

– Как у вас положение в дивизии? – спросил Шмаков, когда они поехали.

– Положение? – Полковник повернулся и насмешливо приподнял брови. – Положение в целом положено знать только господу богу и командиру дивизии, а я со своей артиллерийской колокольни сужу так: раз пушки есть и снаряды вчера наконец получили, значит, будем драться. Вчера при попытке переправиться перебили роту немцев и потопили шесть понтонных, но это еще не бой.

– Я, когда вышел из Могилева, – сказал Синцов, – слышал за южной окраиной артиллерийский бой.

– Что ж, – сказал полковник. – Значит, Серпилин уже дерется. Вчера с наблюдательного пункта было замечено сосредоточение танков. Но точно не могу сказать, я с утра здесь. А вообще скоро все вступим в бой, деваться некуда.

Синцову нравилось насмешливое профессиональное спокойствие этого человека, который, до вчерашнего дня не получая снарядов, наверное, волновался, а сейчас перестал и говорил о предстоящих боях, словно хозяин стоя перед накрытым столом, на котором все готово.

Штаб дивизии оказался не там, где его показывал по карте могилевский комендант, а в редком сосновом лесу, на километр ближе. Посередине леса, под большой сосной, за раскладным столиком, на раскладном стуле сидел грузный, обливавшийся потом от жары полковник в расстегнутой на волосатой груди гимнастерке с двумя орденами. Это и был командир дивизии.

Узнав, что Синцов из фронтовой газеты, полковник почему-то тяжело вздохнул и сказал, что корреспонденты не по его части, пусть Синцов дожидается здесь замполита или едет в политотдел.

– А я тут ни при чем, я уже ученый! – сердито крикнул полковник. – Да, да, ученый! – И на его толстом лице появилось такое свирепое выражение, словно Синцов в чем-то виноват перед ним.

Синцов отошел и посмотрел на часы. Был седьмой час, и он решил дожидаться замполита.

– Я еду в политотдел, – сказал, подходя к нему, Шмаков. – Как вы?

– Подожду здесь. – Синцов пожал руку Шмакову в полной уверенности, что уже никогда больше не увидит этого человека.

– Может быть, закусить хотите? – сказал, проходя мимо Синцова, седой полковник-артиллерист, с которым они ехали в машине. – За лесом моя батарея, артиллеристы вас накормят, скажите, что я приказал.

– Спасибо. – Синцов хлопнул рукой по сумке. – У меня тут все есть.

Действительно, у него в сумке лежали выданная в госпитале банка мясных консервов и краюха хлеба.

– Что, к нашему обратились, а он послал вас куда подальше? – Полковник, насмешливо подняв брови, кивнул в сторону шумевшего за своим раскладным столиком командира дивизии.

– Вроде того.

– Не обижайтесь, надо войти в положение человека. К нам на финской один корреспондент приехал и что-то сказал ему поперек, а он у нас на расправу скор – дал с ходу десять суток ареста. А тот потом, на беду, писателем оказался, да еще известным. Он это нашему объяснял, когда тот его под арест сажал, но наш не внял, он у нас изящной литературы не читает. Советую замполита дожидаться. И еще дал бы вам совет...

Но какой совет собирался дать насмешливый начальник артиллерии, Синцов так и не узнал: в лесу разорвался сначала один тяжелый снаряд, потом целая серия, и все – Синцов, и начальник артиллерии, и командир дивизии – полезли в вырытые между сосен желтые песчаные щели. Немцы били не по штабу, а по той самой поставленной за лесом батарее, куда полковник приглашал Синцова перекусить, – это выяснилось из диалога между залезшим в одну щель с Синцовым насмешливым артиллеристом и толстым командиром дивизии, сидевшим в другой щели, метрах в двадцати от них.

– Нашли где батарею поставить! – кричал командир дивизии, высовываясь из своей щели после разрыва.

– Разрешите доложить! – тоже высовываясь из щели и прикладывая руку к козырьку, кричал ему в ответ начальник артиллерии. – Я вам уже докладывал, когда вы сюда КП перенесли!..

Разрывался новый снаряд, и оба полковника ныряли в щели.

– Нечего было мне докладывать! – снова высовываясь из щели, багровея, кричал командир дивизии. – Надо было без докладов переместить, раз я КП перенес...

– Разрешите доложить, – снова прикладывая руку к козырьку, кричал начальник артиллерии, – что я вам докладывал и вы сами приказали не перемещать, потому что...

Новый свист снаряда, новый разрыв, оба снова ныряли в щели и выскакивали из них.

– Я вас не спрашиваю, как и почему, – кричал командир дивизии, – а приказываю вам!..

В очередной раз нырнув в щель рядом с полковником-артиллеристом, Синцов улыбнулся, несмотря на серьезность положения. Артиллерист заметил его улыбку и по-мальчишески подмигнул.

Налет кончился так же внезапно, как и начался. На весь лес оказалось лишь несколько легкораненых.

– Приказываю немедленно переместить батарею! – кричал командир дивизии, с трудом вылезая из щели и отряхивая от песка толстые колени.

– Есть переместить батарею!

Но командир дивизии уже не смотрел на артиллериста, а кричал кому-то еще, чтоб подали машину, он поедет к Серпилину!

– Серпилин, Серпилин! – орал он через минуту в телефон. – Я Зайчиков!.. Как ты там, Серпилин? Сейчас я к тебе еду, давай не теряйся! – Кажется, ему докладывали по телефону что-то хорошее. – Лупи их, Серпилин, в бога мать, как мы с тобой белых лупили!.. Сейчас еду к тебе! – весело, на весь лес орал полковник.

Едва уехал командир дивизии, как началась стрельба из малокалиберных пушек и пришло телефонное донесение, что немецкие танки вышли на шоссе в трех километрах от штаба.

Полковник-артиллерист сел на полуторку и уехал на шоссе, к своим пушкам. Синцов кинулся было к нему, но в последнюю секунду дрогнул и остался. И хотя сделал перед самым собой вид, что хотел поехать и не успел, в глубине души знал, что струсил. Через минуту, взяв себя в руки, он уже действительно решился ехать, но теперь было не с кем. Он подошел поближе к столику, за которым сидел оперативный дежурный, и прислонился к толстой сосне.

Сообщения по телефону были все тревожнее: танки в двух километрах, в полутора, в километре...

Оперативный дежурный и еще какой-то майор распорядились разобрать гранаты и приготовить бутылки с бензином.

Бутылки с бензином приготовили, но выяснилось, что почти ни у кого нет спичек. Несколько минут, забыв о танках, все искали по карманам коробки и делили спички.

С шоссе донесся гул моторов, потом шквальная артиллерийская стрельба, и вдруг все смолкло.

Оперативный дежурный вытер пот со лба, положил на столик громко стукнувшую в тишине трубку и сказал, что все в порядке: прорвавшиеся танки уничтожены артиллерией.

А еще через пять минут в лес, петляя между деревьями, въехал пикап, и из кабины выскочил человек, которого Синцов меньше всего ожидал тут встретить. Это был его однокашник еще по КИЖу, известный московский фоторепортер Мишка Вайнштейн, теперь одетый в военную форму, а в остальном совершенно такой же, как до войны, – толстый, веселый, шумный, с двумя «лейками» на груди.

– Здорово, Мишка! – обрадовался Синцов, тряся обеими руками тяжелую, как гиря, руку своего старого приятеля, которого ни раньше, ни теперь иначе, как Мишкой, никто и не называл.

– Здорово, здорово! – ухмыляясь, отвечал Мишка и вытирал свободной рукой пот, лившийся с его круглого, как сковородка, лица. – Когда ты сюда подскочил?

«Подскочил» было его любимое слово.

– А ты-то откуда подскочил? – глядя на Мишкину физиономию и тоже невольно смеясь, спросил Синцов.

– Еду, понимаешь, по шоссе, увидел, как по немецким танкам бьют, подскочил и снял. Три танка разделали, как бог черепаху, только далеко друг от друга стоят. Ну ничего, если один к другому подклеить, а природу вырезать, панорама будет – во! – и Мишка показал большой палец.

– А сюда чего приехал?

– А мне сказали, что тут штаб дивизии. Решил заехать, спросить, куда еще можно подскочить.

– За Днепром, под Могилевом, сейчас донесли, уже двадцать танков подбито, – сказал оперативный дежурный.

– Вот это будет панорама! Сядем на пикап, подскочим? – повернулся Мишка к Синцову.

– Ну что ж...

– Без провожатого КП Серпилина не найдете, – снова вмешался в разговор оперативный дежурный.

– Я все найду, – сказал Мишка. – Только уже темновато для съемки. – Он поглядел в начинавшее сереть небо, недовольно покрутил носом и, окончательно поняв, что природы не переспоришь, сразу успокоился и отпустил свой пикап заправляться. – Слушай, – он сел на землю рядом с Синцовым, – у тебя подхарчиться нечем? С утра не ел, честное пионерское!

Синцов молча расстегнул полевую сумку и вытащил хлеб и консервы. Он знал, что, пока Мишка голоден, его бесполезно расспрашивать.

Мишка вытащил нож, одним округлым движением вырезал крышку банки и стал жадно жевать консервы, подцепляя их ножом и заедая здоровенными кусками хлеба. Только уничтожив три четверти банки, он с набитым ртом повернулся к Синцову:

– А ты-то ел?

– Нет.

– На. – Мишка с сожалением подвинул ему банку и остатки хлеба. – Вот всегда я так, забываю товарища, просто неудобно.

Синцов взял из рук Мишки нож, остатки консервов и улыбнулся.

– Ну, как там Москва? – спросил он, когда Мишка прожевал тот последний кусок мяса, который он все-таки не удержался и подцепил ножом, уже передавая банку Синцову.

– Скажешь, вру, но Москвы я не видел. Два раза подскакивал с фронта на несколько часов: сдать фото – и обратно. Да, знаешь, – вдруг весело вспомнил он, – Ковригина из «Звезды» под Минском убило. Хороший был парень, жалко!

Ковригина ему было действительно жалко, но он был очень рад, что снял сегодня танки, и говорил обо всем в одинаково радостном тоне. В этом же тоне он стал рассказывать и о своих поездках на фронт.

Перебив его, Синцов спросил, как он после всех поездок смотрит на общее положение.

Но Мишка никак не смотрел на общее положение: что фашисты нам, как он выразился, крепко прикладывают – это он видел своими глазами, а что мы все равно побьем их, нисколько не сомневался.

Говорить на серьезные темы ему не хотелось, и он откровенно обрадовался, увидев свой вернувшийся с заправки пикап.

– Харчи достал? – спросил он шофера.

Шофер вытащил из пикапа буханку хлеба. Мишка отломил половину и снова стал есть. А Синцов пошел представляться вернувшемуся с передовой заместителю командира дивизии.

Замполит был плотный, длинноносый украинец с большими вислыми усами, делавшими его больше похожим на командира, чем на политработника. Он хмуро, но терпеливо выслушал Синцова и сказал, что не знает, где на сегодняшний день Политуправление фронта: фронт переместился, но штаб армии стоит под Чаусами, и там Синцову, наверно, скажут, где Политуправление фронта.

Синцов объяснил ему, что, прежде чем ехать в армию, хочет завтра вдвоем с фотокорреспондентом побывать за Днепром, в том полку, где сегодня подбили много немецких танков.

Замполит отнесся к этому предложению все с тем же хмурым терпением и сказал, что он сам оттуда, но ехать туда лучше с ночи: днем можно и не проехать. А если ехать ночью, то надо взять на машину провожатого.

– Ничего, мы уже старые фронтовики, сами доедем, товарищ полковой комиссар, – дожевывая хлеб, развязно сказал Мишка и вразвалочку подошел к замполиту.

– Старые вы или молодые – не знаю, а без провожатого не поедете! – отрезал тот. – Сейчас мой инструктор политотдела поест и поедет с вами. Будете только фотографировать или писать?

– И то и другое, – сказал Мишка.

– Будете писать, – обращаясь к Синцову и игнорируя Мишку, все тем же хмурым тоном сказал замполит, – дислокацию частей не раскрывайте. И так немцы слишком много знают, как в воду смотрят, мать их!.. – неожиданно выругался он; хотя он вернулся из полка после удачного боя, но, очевидно, его угнетало что-то такое, о чем он не говорил.

– Товарищ полковой комиссар, командир партизанского отряда приехал, – подойдя к замполиту, доложил молодой политрук.

– Хорошо. А вы сейчас поешьте и поедете обратно к Серпилину вот с ними, на их машине, – замполит кивнул на Синцова и Мишку, повернулся к слезшему с лошади белокурому красивому парню в кожаной куртке, с маузером и гранатами у пояса, и пошел вместе с ним в глубь леса.

Через час пикап, тихонько постукивая досками, миновал днепровский мост и въехал в Могилев. Напротив госпиталя, где еще утром лежал Синцов, у тротуара стояли грузовики, и к ним длинной вереницей, тихо, друг за другом, плыли на руках носилки с тяжелоранеными. На следующем перекрестке, накрывшись плащ-палатками, дремали у зениток орудийные расчеты.

Все в городе делалось как-то особенно тихо: тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу; во всем чувствовался обрадовавший Синцова порядок. Пока они ехали через мост и по городу, их задержали один за другим три ночных патруля.

Наконец, уже на самой окраине Могилева, политрук остановил машину у одноэтажного домика.

– Сейчас я справлюсь, не переехал ли Серпилин, – сказал политрук, предъявил документы часовому и скрылся в воротах дома.

За плотно занавешенными окнами слышались голоса. Через минуту политрук вышел обратно.

– Здесь оперативная группа дивизии, и командир дивизии сейчас здесь, – тихо сказал он Синцову, и тот вспомнил грузного полковника, кричавшего по телефону: «Я еду, еду к тебе, Серпилин!»

– А где Серпилин? – спросил Синцов, который так часто слышал сегодня от разных людей эту фамилию, что казалось, он уже почти знаком с этим человеком.

– На прежнем месте, – сказал политрук.

Они миновали последние дома окраины, свернули на мощеную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на высочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо.

– Порядок! – сказал Мишка.

– Где войска, там и порядок, – отозвался политрук.

Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй, с винтовкой наперевес, – сзади. Синцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщения, долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и наконец уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел с очень высоким человеком, таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху.

– Кто вы такие? – спросил он.

Мишка бойко ответил, что они корреспонденты.

– Какие корреспонденты? – удивился высокий. – Какие корреспонденты могут быть здесь в двенадцать ночи? Кто ездит ко мне в двенадцать ночи!

При словах «ко мне» Синцов понял, что это и есть Серпилин.

– Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим ваши личности? Кто вас сюда прислал?

Синцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии.

– А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра, – упрямо повторил разговаривавший с ними человек, – а утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей.

Не ожидавший такого оборота и оробевший сначала, политрук наконец подал голос:

– Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете...

– Да, вас я знаю, – сказал комбриг. – Только потому и не положу всех до утра на землю! Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты, – совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он, – знаете, какое сложилось положение, поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: «Диверсанты, диверсанты!» А я не желаю, чтоб в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, оставайтесь здесь.

Синцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руки и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего три часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил тридцать девять немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высо-

ким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Синцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше тридцати лет. Синцов слушал и недоумевал: почему этот человек с молодым голосом находится в давно отмененном старом звании комбрига и почему, находясь в этом звании, командует всего-навсего полком?

– Твердят: «Танки, танки», – говорил Серпилин, – а мы их били и будем бить! А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите, у меня в полку двадцать километров одних окопов и ходов сообщения нарыто. Точно, без вранья! Завтра будете свидетелями: если они повторяют, и мы повторим! Вот один стоит, пожалуйста! – И он показал на видневшийся невдалеке черный бугор. – Сто метров до моего командного пункта не дошел, и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать, уши не прижимает.

Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Синцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение десяти дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения.

– Много паникеров среди этих окруженцев! – небрежно сказал Мишка.

И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытывшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига.

– Да, паникеров немало, – согласился он. – А что вы хотите от людей? Им и в бою страшно бывает, а без боя – вдвое! С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге – а на него танк! Бросился на другую – а на него другой! Лег на землю – а по нему с неба! Вот вам и паникеры! Но на это надо трезво смотреть: девять из десяти не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок, поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало, только смотришь и думаешь: хоть бы уж они все поскорей через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут, но наше-то положение трудное! Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, – наконец заключил Серпилин. – Сегодняшний бой – доказательство этому. Доволен им, не могу скрыть! С утра волновался, как невеста на выданье: двадцать лет не воевал, первый бой не шутка! – а сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив! – с каким-то даже вызовом повторил он. – Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас?

– При нас.

– Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайтесь: просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. – Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу.

– У этого не подхарчишься, – полуосуждающе, полудобрительно сказал Мишка, когда они с Синцовым завернулись в шинели и легли на траву.

Синцов долго молча смотрел в затянутое тучами небо, на котором не осталось ни одной звезды. Он заснул и, как ему показалось, уже через несколько минут услышал ожесточенную пулеметную трескотню. Сквозь дремоту он слышал, как она то утихала, то усиливалась, то слышалась там, где началась, то совсем в другом месте.

– Слушай, Мишка, – проснувшись от ощущения, что стрельба окружает их со всех сторон, толкнул Синцов в бок храпевшего Мишку.

– Ну? – сонно ответил тот.

– Слушай, странно, стрельба началась впереди, у ног, а теперь уже где-то сзади, у головы...

– А ты перевернись, – сквозь сон сострил Мишка и снова захрапел.

Глава четвертая

Когда Синцов проснулся, небо над головой было синее-синее, сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Прележав несколько минут то зажмуривая, то открывая глаза, Синцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал «лейку».

– Какой день, ты только посмотри! – радостно сказал Синцов.

Из землянки, низко пригнувшись в двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Синцов. Серпилину было на вид лет пятьдесят, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые, седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и два ряда стальных зубов во рту.

– Как отдохнули? – приглаживая и без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки.

– Спасибо, хорошо, – ответил Синцов.

– Хотелось бы танки поскорее снять, – нетерпеливо сказал Мишка. – В редакции танки нужны, как хлеб!

– Сейчас освободился командир батальона капитан Плотников, пойдете с ним в его батальон: он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой.

– Скажите, товарищ комбриг, – бойко спросил Мишка, – почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?

– А зачем он нам, этот мост? – спросил Серпилин тоном, который Синцов запомнил на всю жизнь.

– Как зачем? – пожал плечами Мишка. – А если туда обратно придется? – и он показал пальцем в сторону Днепра.

– Не придется, – сказал Серпилин. – Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают: роят, роят, а потом... – Он махнул рукой. – А мы вот нарыли и не оставим. И до других нам дела нет!

Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи; фраза была неправильной, он и сам так не думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Синцов, ни Мишка, он знал, что слева и справа от Могилева немцы уже форсировали Днепр и если в ближайшие часы не придет приказ отступить, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он десять дней и десять ночей укрепляется не за страх, а за совесть, его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь, он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же, тогда и будет выиграна война.

– Как вы думаете, товарищ комбриг, – спросил Синцов, – что будет сегодня: бой или тишина? – Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе.

– Боюсь, что тишина, – подумав, ответил Серпилин, – боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабей. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев, они неплохие тактики, – добавил он с каким-то непонятным для Синцова вызовом и усмехнулся жестко и напряженно чему-то, о чем вспомнил, но не сказал. – Опять вы небриты, капитан Плотников, – заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку.

У капитана были утомленные, красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат.

– Извините, товарищ комбриг. Десять суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял.

– Все знаю, – сказал Серпилин, – и при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать как лучшего комбата, а вы небриты. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно. – Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку.

Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово:

– Пошли!

Он двинулся первым. Синцов и Мишка за ним следом.

У комбата действительно был такой вид, словно он десять суток не вылезал из окопов: фуражка измята, должно быть, он спал в ней, сапоги не чищены, на брюках и гимнастерке остались следы кое-как оттертой глины.

Слова Серпилина, что его полк хорошо закрепился, не были преувеличением. По дороге в батальон повсюду виднелись окопы полного профиля, и их соединяло столько ходов сообщения – основных и запасных, что, наверно, даже сильным артиллерийским огнем было бы трудно нарушить в полку управление. Для командных пунктов были вырыты блиндажи с перекрытиями в несколько накатов, пулеметы стояли на круглых земляных столах.

– Прямо как японцы закопались, – одобрительно сказал Мишка.

– Что? – повернувшись, переспросил Плотников.

– Как японцы на Халхин-Голе, – сказал Мишка, – пока каждого не выковырнешь, ни хрена не возьмешь!

– А вы были на Халхин-Голе? – без всякого интереса спросил Плотников.

– Был.

– А мы вчера первый день воевали, – сказал Плотников и пошел дальше.

Передний край батальона огибал молодую дубовую рощицу; дальше расстиралось ржаное поле, а за ним начинался густой сосновый лес – там сидели немцы. Из леса выбегала железная дорога, почти рядом с ней – шоссе. И дорога и шоссе перерезали позиции батальона и уходили в тыл полка. Впереди окопов, на ржаном поле, виднелись окопчики боевого охранения, к ним тянулись ходы сообщения. За окопчиками, во ржи, стояли подбитые во вчерашнем бою немецкие танки.

– А еще, еще где танки? – жадно спрашивал Мишка у Плотникова. – Мне говорили, что тут у вас четырнадцать танков подбито. Девять вижу, а где еще пять?

– Еще пять тоже за боевым охранением, но в лощинке, их отсюда не видно.

– Ладно, я к тем подскочу, – сказал Мишка, – а сейчас давайте к этим пойдем, которые во ржи.

– А вы отсюда их не сможете снять? – спросил Плотников.

– А чего? Сейчас же затишье.

– Затишье? – с сомнением переспросил Плотников и подозвал командира роты, лейтенанта, белобрысого парнишку лет двадцати. – Сходите, Хорышев, с ними, – Плотников кивнул на Мишку, – они танки хотят снять. Возьмите из боевого охранения человек пять, пусть проползут к танкам, заглянут на всякий случай, а потом их проводят.

Он говорил все это лениво и устало. Ему хотелось поскорей сплавить этого шумного корреспондента и хоть немножко поспать.

– А вы у меня, что ли, побудете? – обратился он к Синцову.

– Нет, я тоже пойду. – Синцов хотел пощупать своими руками разбитые немецкие танки.

– Ладно, как хотите, – так же лениво согласился Плотников. – А я тут останусь, посплю. – К тому, что о нем могут подумать, он относился с двойным равнодушием очень храброго и очень усталого человека.

Танки стояли дальше, чем это казалось. До них пришлось долго ползти. Но немецких автоматчиков во ржи не было, не стреляли они и из лесу.

Сначала Мишка снимал танки лежа и сидя на корточках, потом, обнаглев, вылез во весь рост. Он хотел снять все девять. Но все девять никак не попадали в объектив: семь попадало, а два стояли слишком далеко. На лице Мишки было написано несбыточное, но страстное желание как-нибудь подтащить два танка к остальным.

Пока Мишка снимал, Синцов бродил вокруг танков. Неподвижно и мертво стоявшие во ржи, они не казались такими большими и страшными, как о них думалось раньше. Они были грязные, с низкими круглыми башнями, похожими на крышки от гигантских фляг. Около танков лежало несколько убитых немцев. От трупов тянуло дурнотным запахом.

Закончив свою работу, Мишка взял провожатого и пошел в соседнюю роту снимать остальные танки, а Синцов с лейтенантом Хорышевым вернулись на наблюдательный пункт роты. Маленький блиндаж был подрыв под насыпь железной дороги, недалеко от путевой будки.

– Давай посидим у будки, – на «ты» обратился к Синцову Хорышев, – у меня там немножко харчей есть и вода. Там старик обходчик до сих пор живет.

– Почему?

– А кто его знает, живет, не боится! Мои бойцы для него потрудились, щель вырыли, а в будку, как нарочно, ни одного снаряда за весь бой не попало.

Когда они подошли к будке, старик обходчик сидел на насыпи, около щели, и, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувшимися венами, старческие ноги. Рядом с ним стояли сапоги и сушились на солнце портянки. Старик сидел зажмурясь и тихонько пошевеливал пальцами босых ног. Поверх черной сатиновой косоворотки на нем был немецкий темно-зеленый мундир.

– Вчера подарили ему мундир с немецкого лейтенанта, – улыбнулся Хорышев, садясь рядом со стариком на насыпь, – а он его сразу и надел, только погоны спорол.

Услышав слова Хорышева, старик полуобернулся, сонно приоткрыл один глаз и, потрогав пальцами рукав мундира, сказал одобрительно:

– Сукно ничего, хорошее.

– А не жарко?

– Пар костей не ломит.

– Почему вы в Могилев не ушли? – спросил Синцов.

– А чего я там не видел? – лениво ответил старик. – Вы же говорите, что не уйдете отсюда? – обратился он к Хорышеву.

– Не уйдем.

– Ну, и я с вами пересажу, я при службе.

– Мы отца подкармливаем, – сказал Хорышев.

– Тоже не последнее дело, – снова лениво приоткрыв один глаз, отозвался старик. – Ребята добрые, только положил вчера вас немец много... страсть!

– Большие потери вчера были? – спросил Синцов.

Хорышев, шурясь от солнца, надвинул на глаза пилотку и сказал, что потери в роте чувствительные: всего убитых и раненых до тридцати человек.

– Давайте мы тоже сапоги снимем, – сказал он. – Все ходишь, ходишь, ноги горят.

Он стащил сапоги, положил на шпалы портянки и так же, как старик, с наслаждением стал шевелить занемевшими пальцами.

– Брезентовые сапоги, с училища, а других нет. Ребята мне с немца, с офицера, сапоги сняли – не подошли, в подъеме жмут, а голенище жесткое. Они его чем-то прокладывают, наверно.

– Как в царское время, – отозвался обходчик. – Обыкновенные офицерские сапоги с проклею.

Синцов тоже разулся. Хорышев сходил босиком в будку обходчика и вернулся, неся котелок воды, хлеб и три тараньки.

– На рельс не наступай, горячий! – сказал старик и скосил глаза на тараньку. – Обопьешься!

Однако, когда Хорышев вместо ответа протянул ему одну из таранек, старик, не споря, взял ее и начал чистить.

Пока они все трое ели, сидя рядом, Синцов изредка поглядывал на Хорышева. Ему было странно, что этот совсем молодой, бойкий, хозяйственный парнишка только вчера впервые дрался с немцами, а сейчас уже говорит об этом как о чем-то привычном, чего он не боится и в будущем.

Они посидели еще полчаса, потом к ним подошли трое разведчиков; каждый вел по два немецких велосипеда. Эти велосипеды еще рано утром бросила на шоссе выскочившая из леса немецкая разведка. Разведку обстреляли, двух немцев убили, а остальные убежали в лес. Хорышев приказал забрать велосипеды, а разведчики привели их.

– Три в рот оставьте, а три в батальон отдайте, – распорядился Хорышев.

Один из разведчиков поморщился.

– Сказал: отдайте – отдайте, – повторил Хорышев, – а то Плотников все шесть заберет!

Разведчики ушли, а над ржаным полем закружил «мессершмитт», то взмывая в небо, то пикируя вокруг одного и того же места.

– Вашего обстреливает, – равнодушно сказал Хорышев. – Там как раз танки стоят.

«Мессершмитт» покружился над полем и улетел. Синцов забеспокоился, но толстая Мишкина фигура уже появилась на горизонте. Он подошел, плюхнулся на насыпь, увидел в руках у Синцова недоеденную тараньку, сказал: «Дай-ка» – и жадно впился в нее зубами. Хорышев сходил в будку принес еще несколько таранек.

– Это тебя обстреляли? – спросил Синцов.

– Меня, – рассмеялся Мишка. – Я сразу на пузо – и под танк! А он, как комар, зудит кругом, а сделать ничего не может.

– Все снял? – спросил Синцов.

– Все. Можем идти.

Мишка доел тараньку Синцова, потом так же быстро съел еще две и выпил котелок воды. Синцов обулся, простился с обходчиком, и они втроем – он, Мишка и Хорышев – пошли обратно в батальон к Плотникову.

Плотников сидел в землянке у телефона и однообразно отвечал:

– Есть, мне понятно... Есть, мне понятно. Будет сделано. – Положив трубку, он поднялся из-за стола.

– Как, поспали немножко? – спросил Синцов.

– Поспал. Да за все сразу разве выпишься?

– Я вас сейчас сниму, – сказал Мишка.

Они вышли на воздух, и Мишка окинул Плотникова критическим взглядом: его небритое лицо, мятую фуражку, несвежее обмундирование, съехавший на живот немецкий парабеллум.

– Не годится, – вздохнул Мишка.

Он любил парадные снимки, Плотников плохо подходил для этого.

– Ремень застегните потуже, – стал распоряжаться Мишка. – И почему без портупей? Портупея у вас есть?

– Есть, в землянке.

– Возьмите портупею, чтобы по форме было.

Плотников нехотя вернулся в землянку, принес портупею, перекинул ее через плечо и прицепил к поясу.

– Крючок застегните на ворота! – неумолимо потребовал Мишка.

Плотников поискал крючок и с досадой сказал:

– Отлетел!

Мишка вздохнул.

– А каска у вас есть?

– Каски нет.

– Как же так нет?

– Хорышев, скажите, чтобы мне кто-нибудь из бойцов свою каску дал, – сказал Плотников. Он томился и не скрывал этого. Хорышев принес каску, Плотников снял фуражку и надел вместо нее каску.

– Автомат у вас есть?

– Автомат есть. Хорышев, возьмите в землянке мой автомат.

Хорышев принес автомат. Плотников надел его на шею, Мишка поправил автомат, в последний раз прицелился и снял Плотникова, которому на редкость не шли и каска, и автомат, и вообще все перемены, произведенные в его внешности по настоянию Мишки.

Потом Мишка в два счета снял Хорышева, который, не ожидая приглашения, сам быстро перенял у капитана автомат и каску, надел их и, весь напрягшись, не моргая, вытянулся перед аппаратом.

– Я вам сейчас сержанта пришлю, он вас проводит до полка, – сказал Плотников. – Комбриг звонил, приказал за ночь под немецкими танками щели вырыть и засаду посадить. Пойду выполнять: дело к вечеру. – Он устало повел плечами, повернулся спиной и пошел.

– Ну как, покормил вас Плотников или не догадался? – спросил Серпилин, когда Синцов и Мишка снова очутились перед ним.

– В общих чертах покормили... – неопределенно начал Мишка, но Серпилин счел его ответ исчерпывающим и, не дав ничего добавить, спросил:

– Значит, дело сделано, можете ехать?

– Да. Надо завтра поспеть в Москву, сдать материал в номер, но хотелось бы еще снять вас самого.

– А что меня снимать? Поезжайте, время дорого.

Что-то в его тоне обратило на себя внимание Синцова. Кажется, Серпилин хотел, чтобы они поскорей убралась отсюда. Весь день доносившаяся с севера и с юга канонада сейчас, к вечеру, ушла вглубь, на восток, за их спины.

– А все же разрешите вас снять, товарищ комбриг, – настаивал Мишка.

– Тогда уж втроем, с замполитом и начальником штаба. Чтоб осталась память о полковых товарищах, – сказал Серпилин. – Вы фотографии-то сделаете?

– Сделаю, – соврал никогда не делавший фотографий Мишка. – Сделаю и сюда пришлю.

– Сюда не надо, – сказал Серпилин, и в голосе его снова прозвучала нотка, уже привлекавшая внимание Синцова. – Женам пошлите, мы адреса дадим.

Он подозвал ординарца и сказал, чтобы тот позвал замполита и начальника штаба.

– А где у вас жены? – спросил Мишка.

– У них – в Рязани, а у меня – в Москве. Блокнот при вас?

Мишка вынул из планшета засаленный блокнот, Серпилин перелистал его и крупным, твердым почерком написал на свободной странице: «Валентина Егоровна Серпилина, Пироговская, 16, квартира 4».

Пироговская... Это было совсем рядом с тесной артемьевской квартиркой на Усачевке, из которой Маша провожала Синцова в Гродно.

«Гродно, Гродно...» – подумал он, в сотый раз за эти дни снова бессмысленно задавая себе все тот же вопрос. «Что же с дочерью?»

Через минуту подошли замполит и начальник штаба полка.

– Вот, предлагают сняться, – кивнул Серпилин в сторону Мишки, – с обещанием доставить фотографии женам.

И Синцов в третий раз почувствовал в его тоне что-то невыговоренное, какую-то печальную и торжественную решимость.

Серпилин встал посредине, замполит – слева от него, начальник штаба, красивый молодой брюнет с печальными черными глазами, – справа.

– И ты стань рядом, – обратился к Синцову Мишка, – только не впритирку, я тебя потом отрежу и отдельно для жены напечатаю. – Ему не хотелось перезаряжать аппарат, а пленка была на исходе.

Синцов встал. Мишка щелкнул и, достав блокнот, собрался записать остальные адреса, но Синцов, которому хотелось, чтобы фотографии действительно были доставлены женам этих людей, посоветовал, чтобы они все трое написали по короткой записке домой: товарищ Вайнштейн перешлет записки заодно с фотографиями.

Синцов надеялся, что при всей своей нелюбви к печатанию фотографий Мишка не похерит посланные с фронта записки.

– Ну, что там записки! – Серпилин хотел отказаться, но увидел печальные молодые глаза своего начальника штаба и согласился: – Хорошо, напишем. Не задержим, вам ехать надо.

– Вот вредный! – сказал Мишка, когда все ушли писать письма. – Ехать надо, ехать надо! Так и не покормит ужином. Я сам знаю, что мне ехать надо, но уж как-нибудь урвал бы часок на ужин! Так нет – гонит, сквалыга.

– Эх, ничего ты не понимаешь! – Синцов вдруг с полной ясностью представил себе, что значат эти фотографии и эти письма. И внезапное, но твердое решение – итог всего пережитого им за последние три недели – родилось у него в душе.

– Подожди меня здесь, я сейчас вернусь, – сказал он и открыл дверь в землянку Серпилина. – Можно войти, товарищ комбриг?

– Войдите.

Серпилин сидел за столом и размашисто писал на листке, вырванном из полевой книжки.

– Что такое? – оторвавшись, спросил он и показал на табуретку у стола. – Садитесь.

Синцов сел. Должно быть, в выражении лица его было что-то особенное, обратившее на себя внимание Серпилина.

– Что с вами случилось?

– Я не поеду с моим товарищем. Я, с вашего разрешения, пока останусь у вас в полку.

– Пока что? – быстро спросил Серпилин.

– Мне не хотелось бы уезжать из вашего полка, – не ответив на вопрос Серпилина, повторил Синцов.

– Почему?

– Мне кажется, что вы не думаете отступать. Хочу остаться у вас. – И Синцов посмотрел Серпилину прямо в глаза.

– Отступать мы правда не думаем, – сказал Серпилин. – Но на нас свет клином не сошелся, повидали, как у нас, поезжайте посмотрите, как у других; корреспондентов мало, частей много. Поезжайте, поезжайте, – заключил он плохо дававшимся ему неестественно бодрым тоном. – Не разрешаю остаться, нечего вам тут делать. – И он снова принялся за письмо.

– Товарищ комбриг, – сказал Синцов голосом, заставившим Серпилина взглянуть ему прямо в глаза, – мне надоело бегать, как зайцу, и не знать, о чем писать. Уже четвертая неделя

войны, а я ничего не написал. Не знаю, наверное, мне как-то особенно не везло, но вот я сегодня в первый раз приехал в полк, где действительно подбили тридцать девять немецких танков, и я наконец увидел их своими глазами. Если у вас завтра начнется бой, я тоже увижу его своими глазами и напишу о нем. Я работник фронтовой газеты, у вас здесь фронт. Где же мне быть, если не у вас?

– Вот что, товарищ... забыл, вы вчера называли свою фамилию...

– Синцов.

– Вот что, товарищ Синцов. – Лицо Серпилина было серьезно. – Ваше желание быть в бою мне понятно, но бывает положение, когда в части должны остаться лишь те, кому положено по штату, а никому другому драться и умирать в ее составе нет нужды. Если бы у нас впереди были просто бои, я бы вас оставил, но нам, очевидно, предстоят не просто бои, а бои в окружении. Утром я предполагал это, сейчас уверен. Вы слышали артиллерию?

– Слышал.

– Вы ее плохо слушали. Сейчас немцы с двух сторон от нас, уже далеко за Днепром. У вас могут быть сложности по дороге, даже если вы уедете тотчас же. Идите, дайте мне дописать письмо, времени мало и у меня и у вас.

– Товарищ комбриг! – сказал Синцов. – Товарищ комбриг! – упрямо повторил он уже громче, чтобы привлечь внимание Серпилина, снова взявшегося за карандаш.

– Ну? – Серпилин недовольно оторвался от письма.

– Я коммунист, политрук по званию, и я прошу вас оставить меня здесь. Что будет с вами, то будет и со мной. Будем живы – напишу все, как было, а обузой вам я не стану; надо будет – умру не хуже других.

– Смотри, товарищ Синцов, не пожалей потом! – смерив его долгим взглядом, вдруг на «ты» сказал Серпилин.

– Я не пожалею, – сказал Синцов, убежденный в эту минуту, что он действительно ни о чем не пожалеет, и понимая, что вопрос решен и говорить больше не о чем.

– Скажи своему товарищу, что через минуту допишу, пусть собирается, – уже вдогонку ему сказал Серпилин.

– А нас тут пока харчами на дорогу подзаправили, – весело говорил Мишка, хлопая по своей с трудом застегнутой полевой сумке. – Комбриг нам не сказал, а сам распорядился.

– Я не поеду с тобой. Останусь на несколько дней тут. – Синцову не хотелось вдаваться в подробности.

– Что значит останешься? До каких пор? Что у тебя, мало материала?

– Мало.

– Мало – в другой раз поедешь, наберешь больше, а пока и это хлеб!

– Нет, Миша, я останусь, – упрямо повторил Синцов.

– Слушай, это свинство! – багровея и начиная сердиться, крикнул Мишка. – Ты же знаешь, что я не могу остаться с тобой, в редакцию снимки за меня никто не доставит!

– Правильно, вот и поезжай.

– Но тогда выйдет, что я бросаю тебя тут одного!

– Брось дурака валять! Поезжай – и все!

– Ладно, – сказал Мишка, которому пришла в голову идея, разом выводившая его из неприятного положения. – Я подскочу в Москву, сдам снимки – и обратно к тебе, сюда. Самое большее – через три дня! Но только – никуда! Жди здесь, на месте! Слово?

– Слово! – сказал Синцов, отвечая на горячее Мишкино рукопожатие.

От пришедшей ему в голову спасительной идеи Мишка сразу повеселел.

– Слушай, – вдруг вспомнил он, – давай напиши мне сейчас хоть сто строк. Чтoб была текстовка, как подбили эти танки. Отвечаю, что пойдет вместе с моей панорамой. В «Известиях» напечатается, чем тебе плохо?

Синцов с тревогой вспомнил о словах Серпилина, что время дорого, и заколебался: задерживать ли Мишку?

В эту минуту Серпилин вышел из землянки с незапечатанным конвертом в руках.

– Вот, – сказал он Мишке, – написал, потом вложите фотографию и запечатаете. Собирались, едете?

– Сейчас, он мне только, – кивнул Мишка на Синцова, – текстовочку напишет – и поеду.

Синцов попросил разрешения у Серпилина зайти в землянку, написать там при свече несколько строк.

– Заходи, – сказал Серпилин, – я все равно ухожу. А остальные вам письма отдали?

– Отдали.

– Добрый путь. – Серпилин пожал руку Мишке и ушел, не попрощавшись с Синцовым, как уже со своим человеком.

Синцов и Мишка, которому было скучно ждать одному, вместе зашли в землянку. Синцов сел писать, а Мишка расстегнул сумку и, вынув оттуда кусок сухой колбасы, сосредоточенно задвигал челюстями.

Синцов писал быстро и даже с ожесточением от необходимости торопиться. Писал о подбитых немецких танках, о лежащих во ржи мертвых немцах, о Серпилине, Плотникове и Хорышеве и еще и еще раз о самом главном – о том, что, оказывается, можно жечь немецкие танки и не отступать перед ними, когда они идут на тебя. Он торопливо писал, а в голове его проносились последствия принятого им решения. Ему казалось, что если б он не принял этого решения раньше и не сказал о нем Серпилину, то сейчас бы струсил и уехал. Он со стыдом думал о своей слабости, не понимая, что разные характеры бывают сильны по-разному и иногда их сила состоит в том, чтобы, страшась последствий собственного решения, все-таки не переменить его.

Он написал всю заметку за двадцать пять минут, по часам, и здесь же, подряд, на последнем листке, приписал несколько строк Маше.

– Возьми, – сказал он, вчетверо складывая листки. – Когда перепечатают на машинке, черновик отдай жене. Может, она еще в Москве, вот ее телефон. Я уже писал ей два раза из госпиталя, но на тебя больше надежд, чем на почту.

– Еще бы! – Мишка вздохнул, засунул недоеденную колбасу в полевую сумку и взял синцовские листки.

Они вместе вышли из землянки. Мишка не любил долго раздумывать ни над своими, ни над чужими решениями; и все-таки в его нечутком, но добром сердце шевельнулась в эту минуту не до конца ясная для него самого тревога. Ему не нравилось, что он уезжает, а Синцов остается, не нравилось, очень не нравилось!

– Будь здоров, – он пожал руку Синцову, – будь здоров. Я подскочу к тебе. Слово! – И его квадратный силуэт слился с темнотой.

Присев на край окопа и глядя в звездное небо, Синцов думал о том, что завтра к вечеру Мишка на своем пикапчике домчится до Москвы, будет сам проявлять и печатать снимки и, еще мокрые, потащит их на стол к редактору. И лишь потом – Синцов знал это – Мишка позвонит Маше. Будет ночь, Маша, если она в Москве, поднимет трубку, и Мишка скажет ей, что всего сутки назад видел ее мужа, живого и здорового.

А он в это время, через сутки... Он не знал, что с ним будет через сутки, и не хотел сейчас думать об этом. Он знал одно: сегодняшняя тишина не бесконечна, она кончится ночью или утром, и тогда начнется бой. А что будет с ним в этом бою, он не знал, так же как этого не знали и все другие люди, составлявшие полк Серпилина и сидевшие здесь, рядом, в окопах, и дальше – за километр и за два – в землянках и ходах сообщения, и еще дальше, в тех щелях, которые уже, наверное, вырыл трудолюбивый Плотников на ржаном поле, под немецкими танками.

Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки.

Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.

А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла. Эта очередь в нескольких местах пробьет его большое, сильное тело, и он, собрав последние силы, заползет в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков, с усталым Плотниковым, которого он заставил надеть каску и автомат, с браво выпятившимся Хорышевым, с Серпилиным, Синцовым и грустным начальником штаба. А потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди посылали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыпят землю рядом с истекающим кровью, умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков.

Глава пятая

Федор Федорович Серпилин, в полку у которого остался Синцов, был человек с одной из тех биографий, что ломаются, но не гнутся. В его послужном списке было отмечено много перемен, но, в сущности, он всю жизнь занимался одним делом – как умел, по-солдатски, служил революции. Служил в германскую войну, служил в гражданскую, служил, командуя полками и дивизиями, служил, учась и читая лекции в академиях, служил, даже когда судьба не по доброй воле забросила его на Колыму.

Он происходил из семьи сельского фельдшера, отец его был русским, а мать – касимовской татаркой, сбежавшей из дома и крестившейся, чтобы выйти замуж за его отца. Отец Серпилина и сейчас еще служил фельдшером в Туме, на узкоколейке, пересекающей глухие мещерские леса. Там Серпилин провел свое детство и оттуда, повторяя путь отца, восемнадцатилетним парнем уехал учиться в фельдшерскую школу в Рязань. В фельдшерской школе он попал в революционный кружок, оказался на примете у полиции и, наверное, кончил бы ссылкой, если бы не забрившая ему лоб первая мировая война.

Зимой семнадцатого года фельдшер Серпилин участвовал в первых братаниях, а осенью, как выборный командир батальона, дрался с немцами, наступавшими на красный Питер. Когда организовалась Красная Армия, он так и остался на пришедшихся ему по нраву строевых должностях и закончил гражданскую войну, командуя полком на Перекопе.

Знавшие начало его биографии сослуживцы подшучивали, за глаза называя его фельдшером. Это было так давно, что пора бы запомнить, но он и сам при случае шутя ссылался на свою былую профессию. Сколько помнил себя Серпилин, после гражданской войны он почти всегда учился: пройдя курсы переподготовки, опять командовал полком, потом готовился в академию, кончал ее, потом, переучиваясь на танкиста, служил в первых механизированных частях и, снова вернувшись в пехоту и два года прокомандовав дивизией, получил кафедру тактики в той самой Академии Фрунзе, которую пять лет назад кончил сам. Но и здесь он продолжал учиться, все свободное время зубря немецкий – язык наиболее вероятного противника.

Когда его в тридцать седьмом году вдруг арестовали, то, как ни странно, поставили ему в вину даже этот немецкий язык и подлинники немецких уставов, отобранные на квартире при обыске.

Непосредственным поводом для ареста послужили содержавшиеся в его лекциях и бывшие тогда не в моде предупреждения о сильных сторонах тактических взглядов возрожденного Гитлером вермахта. Именно об этом он подумал вчера, с горечью отдав должное тактике немцев и жестко усмехнувшись своим, непонятым Синцову, воспоминаниям.

После ошеломившего его ареста сверх первоначального, глупейшего обвинения в пропаганде превосходства фашистской армии ему предъявили уже вообще черт знает что! Его показания дважды лично запрашивал сам Ежов, и целых полгода три сменявших друг друга следователя тщетно дожидались, чтоб он подписал то, чего не было.

В конце концов ему дали, в сущности без суда, десять лет. А еще через полгода, уже в заключении, он без долгих слов в кровь избил одного из своих бывших сослуживцев по гражданской войне, троцкиста, по ошибке избравшего его своим поверенным и поделившегося с ним мыслями о том, что партия переродилась, а революция погибла.

Время заключения в сознании Серпилина было прежде всего бездарно потерянным временем. Вспоминая теперь, на войне, эти пропащие четыре года, он скрипел от досады зубами. Но за все эти четыре года он ни разу не обвинил Советскую власть в том, что с ним было сделано: он считал это чудовищным недоразумением, ошибкой, глупостью. А коммунизм был и оставался для него святым и незапятнанным делом.

Когда его выпустили, так же неожиданно, как посадили, он вышел постаревшим и физически измотанным, но душа его не была изборождена морщинами старости и неверия.

Он вернулся в Москву в первый день войны и хотел только одного – поскорей оказаться на фронте.

Его старые товарищи, сделавшие все, что было в их силах, для его освобождения, помогли ему и тут: он ушел на фронт, не дожидаясь ни переаттестации, ни даже восстановления в партии, – подал документы в парткомиссию и уехал принимать полк. Он был готов пойти хоть на взвод, только бы без проволочек вернуться к своему делу, вновь ставшему из военной службы войной. Он хотел скорее доказать, на что он способен. Доказать не ради одного себя: ему уже вернули оружие и звание, его обещали восстановить в партии и отправили на войну с фашистами, – чего он мог желать еще? Но он хотел доказать своим примером, что и со многими другими, еще оставшимися там, откуда он вернулся, совершена такая же нелепость, как с ним. Именно нелепость.

Это чувство росло в нем с каждым днем, проведенным на фронте. Немцы были сильны – об этом не могло быть двух мнений. Война была серьезной и после первых неудач оборачивалась еще круче.

Спрашивается, кому же перед этой войной понадобилось лишить армию таких людей, как он, Серпилин? Конечно, на них свет клином не сошелся. Армия выиграет войну и без них. Но почему без них? Какой в этом смысл?

Об этом он думал сегодня, перед рассветом, лежа на охапке сена, принесенного ординарцем. Первый удачный бой наполнил его верою, нет, не в то, что его полк совершит чудеса, хотя хотелось верить и в это, а в то, что вообще дело обстоит не так худо, как показалось сначала.

Конечно же, армия сражалась лучше и наносила немцам потерь больше, чем это можно представить себе, видя только бредущих через свои позиции окруженцев. Наверное, в сотнях мест она дралась так же, как здесь в первом бою дрался его полк, и если немцы при этом все-таки шли вперед, окружали и теснили нас, то это, конечно, давалось им не просто и стоило не дешево. Громадность театра, ввод в бой наших резервов и усиление нашей техники, которая, черт возьми, должна же появиться на фронте в нормальных количествах, – все это в конце концов на каком-то рубеже остановит немцев. Вопрос только, где будет этот рубеж.

Вчерашнее затишье не радовало Серпилина. Он понимал, что немцы оставили его в покое не потому, что потеряли надежду смять его полк, а потому, что они, к сожалению, умело маневрировали своими силами. Результаты этого маневра уже начали сказываться. Они прорвали фронт и слева и справа от Могилева. Это было ясно по звукам удалявшегося к востоку боя. Только глухой мог не понять этого. А он со своим полком сидел здесь сложа руки и ждал, когда очередь дойдет до него.

Последний приказ, пришедший в дивизию перед тем, как прервалась связь с армией, был: прочно удерживать позиции. Что ж, для людей, готовых дорого продать свою жизнь и знающих, как это сделать, это был неплохой приказ, в особенности если за ним не последует приказа отступить, когда отступать будет уже поздно. Но, спрашивается, что же произошло в соседних дивизиях и до каких пор будут продолжаться бесконечные прорывы и окружения, от рассказов о которых уши болят?!

Думая о предстоящем, Серпилин больше всего боялся получить запоздалый приказ на отход. Впрочем, если с утра начнется бой, тут уж от немцев и захочешь, а не оторвешься. А бой будет. Дивизия прикрывала Могилев, сюда сходились дороги, здесь был мост через Днепр – все, вместе взятое, было таким узелком, который не оставляют у себя в тылу, не попытавшись развязать его.

«Черт его сюда принес, наверное, сложит теперь здесь голову! – с симпатией подумал Серпилин о спавшем рядом с ним на траве Синцове. – Молодой еще, как мой начальник штаба. Тоже, наверное, молодая жена...» И Серпилин перенесся мыслями к собственной жене, жив-

шей в Москве, в старой академической казенной квартире. Когда его арестовали, ей все-таки оставили там одну комнату: кого-то зазрила совесть. «Ах, старая, старая! – с нежностью подумал Серпилин. – Совсем седая стала. Измотала себя на письма, на передачи, на хождения по сослуживцам и начальникам, а ведь какая красивая была когда-то, и сколько горячих и глупых голов в разных гарнизонах удивлялось, зачем вышла замуж за своего долговязого уроды и почему не изменяет ему».

С запада гулко и отчетливо грохнуло: немцы положили сразу несколько снарядов.

«По Плотникову, – отметил про себя Серпилин и спокойно подумал: – Вот и начали».

Синцов вскочил и спросонок стал шарить вокруг себя, ища пилотку.

– Значит, остался? – неторопливо стряхивая с себя стебли сена, сказал ему Серпилин. – Теперь уж жалею не жалею...

Синцов промолчал.

– Ну что ж, пойдем со мной в батальоны. Хотел бой видеть, сейчас увидишь.

Бой, возобновившийся на фронте серпилинского полка, продолжался трое суток, почти не затихая.

К середине первого дня немцам почти нигде не удалось продвинуться, несмотря на сильный артиллерийский огонь, который они вели, не жалея снарядов, и несколько танковых атак с десантами на броне. Перед фронтом полка прибавилось еще два десятка сожженных и подбитых танков и бронетранспортеров. На ржаном поле осталось, как все говорили, пятьсот и, как донес в дивизию не любивший преувеличений Серпилин, триста немецких трупов. В полку людские потери были еще больше – и от огня артиллерии и танков, и от огня немецких автоматчиков, положивших без остатка побежавшую из окопов роту. В половине рот были убиты командиры или политруки, погиб так и не успевший выспаться Плотников, на наблюдательном пункте прямым попаданием мины был в ключья разорван замполит полка.

Во второй половине дня к Серпилину, к последнему из трех своих командиров полка, добрался командир дивизии полковник Зайчиков. С утра он был за Днепром и, поняв, что остается в окружении, повернул полк, находившийся там во втором эшелоне, фронтом к востоку и тылом к реке. Потом, переправляясь через Днепр, полдня просидел в полку, прикрывавшем окраину Могилева: там ожесточенно работала немецкая артиллерия, но атаки были слабее, чем против Серпилина. Должно быть, немцы хотели, не ввязываясь в бой на улицах города, сначала уничтожить Серпилина и в обход Могилева выйти к днепровскому мосту. Так, по крайней мере, сказал Серпилину командир дивизии. Он пришел к нему на командный пункт, обливаясь потом от жары и засунутой под гимнастерку рукой прижимая больное сердце. После тяжелого дня, проведенного на позициях, оно давало себя знать. Грузный, с отеками под глазами, командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе, жадно глотал воздух и все никак не мог наглотаться.

– Глушенко-то у нас убили, – горестно сказал командир дивизии о своем замполите. – Глупо убили, случайным снарядом у моста!

– А кого умно убивают? – отозвался Серпилин. – Я вам докладывал: у меня тоже замполита убили, тоже сирота.

– Знаю, – сказал комдив, – и вот замену тебе привел.

Он повернулся в сторону пришедшего вместе с ним маленького, краснолицего, седобрового батальонного комиссара в толстых очках с двойными стеклами, которого Серпилин никогда до этого не видел в дивизии.

– Лектор из самого ПУРККА, – все еще продолжая задыхаться, отрывисто сказал комдив. – Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции...

– Шмаков, – прикладывая руку к козырьку, сказал батальонный комиссар.

– Желание пойти к тебе в полк высказал сам товарищ Шмаков. Обстановка ему ясна. Приказом по дивизии отдано, – сказал комдив, – так что поздравляю с комиссаром полка.

Серпилин вопросительно взглянул на Зайчикова.

– Вот именно! С комиссаром полка, – повторил тот. – Последнее, что Глущенко, покойник, получил из политотдела армии, когда связь прервалась, – есть указ о восстановлении института военных комиссаров. Хотел с этим сам в полки поехать, но не успел, бедный...

– Да, – помолчав, сказал Серпилин, – опять как на гражданской – ты да комиссар. Вся серьезность нашего положения подчеркнута...

– Для вашего сведения, товарищ командир полка, – сказал Шмаков, – в свое время, по мобилизации на Деникина, был около года комиссаром Сорок второй стрелковой дивизии. Но, правда, после гражданской тут же отозвали на политработу, и снова хожу в форме только неделю.

– Он тоже еще месяца нет, как надел военную форму, – кивнул Зайчиков на Серпилина. – Также когда-то дивизией командовал, а я у него после академии стажировался, так что вы оба попались тут друг другу большие начальники, – пошутил он, но шутка не получилась: убитый Глущенко никак не выходил у него из головы.

– Много ли у тебя людей под начальством осталось, а, начальник? – превозмогая себя, все-таки попробовал пошутить комдив.

Серпилин доложил о потерях.

– У всех большие потери, – сказал Зайчиков. – Большие потери! – повторил он и снова подумал о Глущенко.

Короткая передышка кончилась, и немцы снова пошли в атаку раньше, чем Серпилин успел толком поговорить со Шмаковым. Как только началась атака, новый комиссар взял провожатого и пошел в батальоны знакомиться.

– Начиная с левофлангового, с третьего, – посоветовал Серпилин. – Тут поближе. – А про себя добавил: «И потише».

Что комиссар сразу не стал околачиваться на КП, пришлось по душе Серпилину, и тем более захотелось поберечь его в меру возможности.

Пока продолжалась эта шестая за день атака, Зайчиков оставался в полку, все время находясь рядом с Серпилиным. Его присутствие в полку не стесняло Серпилина, тем более что комдив за все время отдал лишь два-три приказа, и притом таких, которые в следующую минуту собирался отдать сам Серпилин. Это говорило о том, что они одними глазами видят происходящее на поле боя.

В свою очередь, командир дивизии, которого две недели назад, когда Серпилин принимал полк, совсем не обрадовало прибытие к нему в подчинение человека старше его по званию, сейчас, в бою, забыл и думать об этом. Хотя он стажировался у Серпилина много лет назад и они, в сущности, не так уж хорошо знали друг друга, но в сложившейся тяжелой обстановке довоенное знакомство было важно для обоих и вызывало на взаимную откровенность.

Как только шестая атака была отбита с большей легкостью, чем предыдущие, – немцы, кажется, начали выдыхаться, – комдив заторопился в соседний полк.

– За тебя, Федор Федорович, я не волнуюсь, – прощаясь, с глазу на глаз сказал он Серпилину. – Я, конечно, рад, что тебе у меня полк дали, хотя, по совести, нам бы с тобой соседними дивизиями командовать, по крайней мере, за фланги были бы взаимно спокойны, а то воюем, а флангов нет! Еще вчера утром хоть с левым соседом соприкасался, а сейчас – ищи-свищи!

– Ничего, – сказал Серпилин, – все, что наше, – с нами, покомандуем тем, что бог дал. Живы будем – до генералов дослужимся, а полковниками и комбригами помрем – какие есть, такими и зароят.

– Фашистов бы побольше в землю закопать, – сказал комдив, – а самим можно и без святого причастия. Что-то ихняя авиация сегодня не летает, – прощаясь с Серпилиным, поглядев на небо, добавил он.

Сказал и накликал беду: не прошло и получаса, как немцы нанесли тяжелый бомбовый удар по стыку Серпилина с соседним полком. Сорок бомбардировщиков, пикируя один за другим, словно ножом прорезали целую полосу к реке. Сплошная пелена дыма закрыла северную часть горизонта.

А когда бомбежка кончилась и прошел еще час, комдива принесли на носилках, обессиленного, тяжело раненого осколком бомбы в живот, и хирург, прибежавший в медпункт, вместе с хирургической сестрой долго возился над ним, под глухие стоны вынимая осколок. Командир дивизии сразу после ранения категорически приказал нести себя не на медпункт, а сюда, на КП, к Серпилину.

Врач, чертыхаясь в душе, вынужден был подчиниться. Он был молод и робел, потому что полковника Зайчикова в дивизии боялись как огня, и это чувство не проходило у врача даже сейчас, когда грозный Зайчиков лежал перед ним неподвижный и беспомощный.

После того как немецкие бомбардировщики на стыке двух полков перепахали все пространство до самого Днепра, в еще не развеявшемся дыму бомбежки по тому же месту ударили немецкие танки. Прорвавшись к мосту через Днепр, они успели захватить его невзорванным. Вместе с танками, на броне, прорвались автоматчики. Их было не много, всего рота, но бомбежка и танковая атака были такими неожиданными, а гремевший в темноте огонь автоматов казался таким сплошным, что ни Серпилин, ни командир отрезанного от него полка в первый час катастрофы не решились ударить по еще тонкой пока цепочке прорвавшихся к Днепру немцев.

Вечером не рискнули: сказалось и отсутствие опыта, и преувеличенное представление о численности врага, – а утром было уже поздно. Когда Зайчикова принесли на командный пункт полка, Серпилина там не было. Разминувшись с раненым комдивом, он пошел в свой пострадавший правифланговый батальон распорядиться приготовлениями к утреннему бою.

Комдив приказал принести себя прямо на командный пункт, к Серпилину, потому что рана показалась ему смертельной и он хотел успеть возложить командование дивизией на Серпилина. Когда врач, чистя рану, собрался дать наркоз, он воспротивился, боясь хоть на минуту потерять сознание; ему казалось, что он так и умрет, не успев передать дивизию Серпилину...

Что командир дивизии тяжело ранен, Серпилин узнал еще в батальоне. Отдав самые необходимые распоряжения, он поспешил на медпункт полка, рассчитывая застать командира дивизии там. Но на медпункте не было ни командира дивизии, ни хирурга, вызванного на командный пункт.

– Товарищ комбриг, – стоя у входа в землянку в надетом поверх гимнастерки окровавленном халате, шепотом говорил врач, – я не виноват, я хотел, как положено, обработать рану в наилучших условиях, но командир дивизии приказал...

– Эх вы, приказали вам! – сердито махнул рукой Серпилин. – Бывают моменты, когда не мы врачам, а врачи нам приказывают. Жив будет?

– Все, что можно было сделать, сделано, но ранение тяжелое, а условия для оказания помощи...

– Ахать поздно! Что-нибудь еще можете сделать?

– Пока больше ничего не могу.

– Тогда идите, у вас там, на медпункте, раненые в очереди на земле валяются, – сказал Серпилин и вошел в землянку.

Зайчиков лежал на койке с широко открытыми глазами и подергивал губами, силясь не стонать.

Серпилин пододвинул под себя табуретку и больно уперся острыми коленями в край койки.

– Отвоевался, Федор Федорович, – сказал комдив, и из глаза его выкатилась и поползла по щеке слеза. Он вытер слезу и снова положил руку вдоль тела на простыню. – Накрой меня шинелью, знобит.

Серпилин снял с гвоздя свою шинель и накрыл ею комдива поверх простыни.

– Что там немцы? – спросил комдив.

Скрывать истину от раненого было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. Раненый Зайчиков все еще оставался командиром дивизии. Серпилин доложил, что немцы отрезали его от соседнего полка, вышли к Днепру и, по всей вероятности, захватили мост. Комдив несколько минут лежал молча, переживая это известие и собираясь с мыслями. С мыслями справиться было трудно, они расползались в разные стороны: если немцы взяли мост, значит, они одним ударом отрезали друг от друга все три полка. Он подумал о полковнике Юшкевиче, своем начальнике штаба, который теперь остался за старшего на том берегу Днепра.

– Все сразу в клочья, – вслух сказал он.

Юшкевич был, по его мнению, хороший начальник штаба, но доля ему сейчас досталась самая незавидная. После потери моста он оказывался между двух огней, прибитый к узкой полоске берега, с немцами за спиной. Если догадается сегодня же ночью попробовать прорваться на восток, может, что-нибудь и вытащит, а не догадается – пропал!

Майор Лошкарев, командир отрезанного теперь полка, стоявшего на окраинах Могилева, был храбр до отчаянности, но еще зелен. Что он не струсит, Зайчиков был уверен, но трудно было сказать, как Лошкарев справится с полком, действуя на свой страх и риск. Зайчиков даже пожалел, что его ранило здесь, у Серпилина, а не там, у Лошкарева: там он был бы нужней, даже такой, как сейчас, лежащий.

Потом он с жалостью к самому себе подумал о своей ране и о своей семье – жене и дочерях. Все девочки и девочки, жена даже последний раз плакала, что не мальчик.

«Трудно, когда пять дочерей», – вспомнил он о своей семье так, словно его самого уже не было в живых.

– Слушай, Серпилин, – он наконец собрался с мыслями, – готовься принять дивизию. Пиши приказ.

– Будет надо – буду готов, а с приказом подожди! При живом командире дивизию не принимают. Перележишь, отойдешь, ты мужик вон какой здоровый. – И Серпилин осторожно дотронулся рукой до его плеча.

Зайчиков скосил на него глаза, промолчал. Да и что было говорить? На месте Серпилина он ответил бы то же самое.

– А все-таки ты приготовься, – помолчав, сказал он и закрыл глаза.

То, что он сейчас был у Серпилина, а не на медпункте, утешало его: там бы он уже чувствовал себя только раненым среди других раненых, а здесь он все еще командир дивизии. Он пролежал несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, то увидел стоявшего за спиной Серпилина давешнего, подходившего к нему в лесу долговязого политрука из газеты. Политрук был в грязной, вывалянной в земле гимнастерке и с немецким автоматом.

Синцов почти весь день провел рядом с Серпилиным, сначала в одном батальоне, потом в другом; на его глазах танки ворвались в расположение батальона Плотникова; один танк въехал на железнодорожную насыпь, своротил будку путевого обходчика и долго бил из пушки, стоя в пятидесяти метрах от Синцова; снаряды свистели прямо над головой. Потом Плотников вышел из окопа и кинул под танк связку гранат. Танк загорелся, а Плотникова в следующую секунду убило пулеметной очередью с другого танка.

Потом Синцов увидел, как побежала одна из рот. Немецкие автоматчики стали косить ее, а Серпилин, командуя оказавшимися рядом бойцами, отбил атаку автоматчиков огнем и гранатами; при этом он сам то и дело прицеливался и стрелял из винтовки.

Недалеко от Синцова стрелял из винтовки по немцам старик обходчик; а потом, когда Синцов еще раз оглянулся, старик уже лежал на дне окопа мертвый, в немецком мундире, распаханном на седой окровавленной груди.

Синцов тоже стрелял из винтовки и застрелил – он это видел – немца, выскочившего словно из-под земли в десяти шагах от него.

– Вот и ты своего немца застрелил, – когда была отбита атака, сказал Синцову Серпилин, который, казалось, все замечал вокруг себя. Потом он распорядился отдать Синцову снятый с убитого немца автомат и две длинные запасные обоймы к нему в холщовом мешке. – Бери, твой, законный!

Все это было давно, днем, а вечером, уже в темноте, Синцов пошел с Серпилиным туда, где после бомбежки прорвались немцы. Там он потерял Серпилина из виду, долго искал, боясь, что его убили, и обрадовался, когда, вернувшись на командный пункт, узнал, что Серпилин жив и здоров.

Синцов так с улыбкой и вошел в землянку и вдруг увидел все сразу: худую, согнутую спину сидевшего на табуретке Серпилина и лежавшего на серпилинской койке с закрытыми глазами полковника, командира дивизии. Полковник был так бледен, что показался Синцову мертвым. Потом он открыл глаза и долго молча смотрел на Синцова.

Синцов тоже стоял молча, не зная, что ему теперь делать и говорить. Серпилин почувствовал чье-то присутствие за спиной и повернулся.

– Ну как, политрук, навоевался? Теперь не будешь жаловаться, что нечего писать?

Синцов вспомнил о своем лежащем в полевой сумке блокноте, к которому он так и не притронулся ни разу за день. Он был голоден, но спать ему хотелось еще больше, чем есть.

– Разрешите идти, товарищ комбриг, – сказал он вместо ответа, чувствуя не в руках и не в ногах, а где-то глубоко внутри себя тупую усталость от всех, вместе взятых, одна за другой пережитых за день опасностей.

– Спать хочешь? – смерил его понимающим взглядом Серпилин. – Иди, ты человек вольный.

– Я тут же, рядом, лягу, около землянки, – сказал Синцов, стыдясь, что ему хочется спать, когда, наверно, гораздо более усталый, чем он, Серпилин сидит здесь и бодрствует.

Серпилин, не оборачиваясь, кивнул.

– Чего он у тебя здесь? – тихо спросил Зайчиков, но Серпилин только пожал плечами, затрудняясь ответить.

Едва Синцов вышел, как в землянку зашел Шмаков; он был тоже с немецким автоматом. Войдя, он снял автомат, поставил его в угол и, устало вертя шеей, подошел к койке. Ему уже сказали, что Зайчиков ранен и лежит здесь; спрашивать было незачем и нечего. Он стоял и молчал.

– Много автоматов взяли? – посмотрев на него, спросил Зайчиков.

– Двадцать.

– Густой у них автоматный огонь, – сказал Зайчиков. – Еще с финской стало ясно, что надо автоматы в массовом масштабе брать на вооружение, а все чесались. Так и прочесались до самой войны. У нас хорошо, если десять автоматов на полк, а у них сотни! – В его ослабевшем, хриплом голосе слышалось раздражение.

Шмаков стал рассказывать, что происходило в левофланговом батальоне. Серпилин и комдив слушали его: Серпилин – внимательно, Зайчиков – с пятого на десятое, каждые полминуты жмуря глаза от боли в животе.

– Прямо рожать собрался, – сказал он наконец, через силу улыбнувшись.

– Я к тебе в землянку перейду, товарищ Шмаков, – сказал Серпилин, – а здесь у комдива медицинский пост поставим.

Вначале Серпилин хотел настоять, чтобы комдива перенесли на медпункт, но потом раздумал. В конце концов теперь, в окружении, неизвестно, где в полку тыл, а где передовая. Пусть лежит здесь, все равно не уговоришь, а затевать споры, зная, что они ничем не кончатся, Серпилин не любил.

– Не надо мне никакого поста, – сказал Зайчиков. – Выходит, я тебя из землянки выжил!

– Надо! – решительно сказал Серпилин. – В этом со мной не спорь, я же в прошлом как-никак фельдшер, опыт имею.

Зайчиков невольно улыбнулся. Он вспомнил прозвище Серпилина «фельдшер» и свою стажировку у него в дивизии в далеком тридцать третьем году.

– Если сумеешь, постарайся задремли, Николай Петрович. – Серпилин встал. – Пойдем с комиссаром подыбьем итоги дня, а потом вернемся к тебе за приказаниями.

«Как же, нужны тебе сейчас мои приказания! – беззлобно и честно подумал Зайчиков, проводив взглядом Серпилина. – Ты не Лошкарев. Повернись у тебя иначе, ты бы сейчас дивизией, а то, глядишь, и корпусом командовал и сам бы мне приказания отдавал... Если бы только у нас с тобой связь была», – вспомнил он о прерванной связи с армией и горько усмехнулся.

В землянке у Шмакова, в которую тот сам зашел сейчас впервые, сидя друг против друга на койках – Шмаков на койке убитого утром комиссара, а Серпилин на койке убитого вечером начальника штаба, – они подвели итоги дня и, как тришкин кафтан латая сегодняшние потери в полку, обсудили, кого и куда переместить, чтобы заткнуть все дыры.

Нужно было к ночи назначить одного командира батальона, двух командиров рот и трех политруков вместо выбывших за день из строя. Шмаков пока познакомился с людьми только в одном батальоне, да и то наспех; почти все кандидатуры называл Серпилин. Когда дошло до политрука, Серпилин вспомнил Синцова.

– А что ему, – сказал он, когда Шмаков пожал плечами, – за мной хвостом ходить, пока не убьют? Раз по званию политрук, пусть идет политруком роты. Будет не хуже других, а будет хуже – все равно другого нет.

Через пять минут разбуженный Синцов, протирая сонные глаза, стоял перед Серпилиным и Шмаковым, которого вовсе не ожидал здесь встретить, и выслушивал их краткое напутствие. Его отправляли теперь же, пока темно, в роту, к тому самому Хорышеву, с которым они вчера сидели разутые на железнодорожной насыпи и, греясь на солнышке, грызли тарань.

– Я только не командовал никогда, – неуверенно ответил Синцов, когда Серпилин задал ему хотя и положенный, но в этих обстоятельствах, пожалуй, бессмысленный вопрос: «Как, справишься?»

– А ты покомандуй, – наставительно сказал Серпилин. – Звезду на рукаве и три кубаря на петлицах носишь, значит, имею право с тебя требовать в соответствии со званием. – Он проговорил все это довольно сердито, не потому, что на самом деле сердился на Синцова, а потому, что хотел подчеркнуть перемену в его положении. – Провожатых теперь тебе не положено, а не доберешься – дезертир! – И Серпилин улыбнулся, давая понять, что последние слова – шутка.

Синцов, все еще не до конца придя в себя, пожал протянутые ему на прощание руки Серпилина и Шмакова. Оба они были для него отныне совсем другими, чем раньше. Еще вчера он был гостем в полку у этого долговязого комбрига с добрым лошадиным лицом, еще недавно он был случайным фронтовым попутчиком этого маленького седого батальонного комиссара, а теперь они были его командир и его комиссар, а он был политрук роты, находившейся под их командой; и от него уже не ждали, что он опишет, как другие воюют, а ждали, чтобы он сам воевал, как другие. Еще никогда в жизни с ним не случилось превращения более мгновенного и более трудного.

Когда Синцов вышел, Серпилин и Шмаков переглянулись.

– Я из медиков сразу в командиры батальона шагнул, – сказал Серпилин, – и ничего, справился. Так чего ж мне в нем сомневаться? – кивнул он на дверь. – Что ж, они за двадцать три года Советской власти хуже нас стали? Или мы с ними умели только разговоры разговаривать, а людей из них сделать не сделали? Не верю! И, несмотря на все наши нынешние черные беды, все равно не верю! Может, и не всегда как надо воспитывали, а все же ничего, крепко, думаю, покрепче, чем фашисты своих! Воспитали людей неплохо, даже в тюрьме, бывало, лишний раз в этом убеждался. Про тюрьму не удивляешься?

– Не удивляюсь. Зайчиков рассказал мне вашу историю, – ответил Шмаков, постеснявшийся сразу перейти на «ты».

Но Серпилин понял это обращение на «вы» по-своему.

– Вот как вам не повезло, к кому вас судьба комиссаром забросила, товарищ Шмаков: ответственность в квадрате, можно даже считать – в кубе, – сказал он, сам переходя на «вы» и не скрывая горькой иронии.

Шмаков мог бы ответить на это многое. Он мог бы ответить, что судьба вообще не забрасывала его в армию, а он пошел в нее сам. Он мог бы ответить, что попросил Зайчикова использовать его на любой должности не до, а после того, как ему стало ясно положение дивизии. Он мог бы, наконец, сказать, что никак не меньше Серпилина верит в Советскую власть и в ее способность воспитывать преданных ей до последнего вздоха людей и именно поэтому верит в него, Серпилина, как в самого себя.

Но разговорчивый в обычное время профессор, а ныне батальонный комиссар Шмаков терпеть не мог объясняться, когда его к этому вынуждали. Поэтому, не ответив ничего из того, что он мог бы ответить Серпилину, Шмаков помолчал, посмотрел на него через свои толстые очки и сказал всего одну фразу:

– Товарищ Серпилин, я не умею быстро переходить на «ты». Прошу вас не придавать этому ровно никакого значения.

И, только чуть-чуть подчеркнув слова «ровно никакого», дал почувствовать Серпилину, что понял и отвергает его упрек.

– Если я вас верно понял, вам нет дела до моего прошлого, – сказал любивший идти напрямую Серпилин.

– Вы верно меня поняли.

– Но я-то его пока еще не забыл, нет-нет и вспомню. Это вы понимаете?

– Понимаю.

– Как вас зовут?

– Сергей Николаевич.

– Меня – Федор Федорович.

– Ну вот и окончательно познакомились! – рассмеялся Шмаков, радуясь концу напряженного разговора. – А то вдруг кому-нибудь из нас помирать, и вышло бы даже неудобно: не знали бы, какие инициалы в похоронной писать.

– Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке! – покачал головой Серпилин. – Уметь помирать – это еще не все военное дело, а самое большее – полдела. Чтоб немцы помирали, вот что от нас требуется. – Он встал и, потянувшись всем своим длинным телом, сказал, что пора идти докладывать комдиву.

– А может, его не трогать, ему ведь плохо, – возразил Шмаков.

– Доложим – станет лучше. Рана у него слишком тяжелая, чтобы просто так лежать и смерти ждать. Пока будет приказывать – будет жить!

– Едва ли врачи согласятся с вашей точкой зрения, – тоже встал Шмаков.

– А я их согласия не спрашиваю, я сам фельдшер.

Шмаков невольно улыбнулся. Серпилин тоже улыбнулся собственной шутке, но вдруг снова стал серьезен.

– Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?

Следующий день, снова с утра до вечера, весь прошел в бою. Постепенно большая часть полевых и противотанковых орудий была выведена из строя, и немецкие танки, то и дело прорываясь в глубину позиций, подолгу ползали между окопами, разворачивали гусеницами землянки, били из пушек, зайдя сбоку, во всю длину поливали из пулеметов окопы и ходы сообщения. Иногда могло показаться, что позиции полка уже захвачены, но немецкой пехоте весь день никак не удавалось прорваться вслед за танками, а без нее танки ничего не могли доделать до конца: одни, израсходовав боезапас, выходили из боя, другие загорались в глубине позиций, заброшенные связками гранат и бутылками с бензином.

Из-за недостатка артиллерии и снарядов танков сожгли меньше, чем в прошлые дни, но все-таки девять штук их сгорело в разных местах. Один даже взгромоздился на блиндаж Серпилина, где теперь лежал Зайчиков; там, на блиндаже, его и сожгли, и он стоял над ним, как памятник, завалившись задом в окоп и задрав к небу орудие.

Всего за день отбили восемь сменявших друг друга немецких атак.

Синцов, придя еще с вечера в роту к Хорышеву, за целые сутки только два раза взглянул на часы. Ему было недосуг думать о том, хорошим или плохим политруком роты он оказался; он просто был весь день в окопах с бойцами и старался как мог толковей приказывать тем немногим людям, которые были поблизости от него, то, что считал необходимым в ту или другую минуту. Он приказал не стрелять, когда почувствовал, что нужно подпустить атакующих немцев поближе, и приказал стрелять, когда понял, что пора стрелять, и стрелял сам, и, наверное, убивал немцев.

Когда кончилась последняя, восьмая по счету, немецкая атака, начало темнеть и Хорышев с забинтованной под пилоткою головой подошел к нему и громко, как глухому, крикнул в ухо: «Хорошо действовал, политрук!» – Синцов лишь пожал плечами. Он сам не знал, хорошо он действовал или плохо, он знал одно: они остались в тех же окопах, где были с утра, и, наверное, это было хорошо.

Подумав так, он вдруг удивился, что остался жив: слишком много людей было за день убито и ранено вокруг него. Когда их убивало и ранило каждого в отдельности, он не думал о себе, но сейчас, когда после боя вспомнил всех их, раненых и убитых, вместе, ему показалось странным, что всех их убило и ранило, а его за весь день даже не поцарапало.

– Как думаешь, завтра опять пойдут? – спросил он Хорышева.

Тот не расслышал и переспросил. Синцов устало повторил свой вопрос, и Хорышев ответил так же устало:

– Конечно, пойдут, что же им больше делать!

Уже совсем стемнело, когда Серпилин пришел в землянку к комдиву. Верхний накат в землянке покосился, а одно бревно вылезло и углом свисло вниз. Пол возле койки, на которой лежал Зайчиков, был завален горами осыпавшейся из-под накатов земли.

– Чуть не задавил меня танк, – усмехнулся Зайчиков. – Уже считал, что немцы пришли, приладили стреляться. – Он дотронулся до выглядывавшего из-под подушки пистолета. – Что у Лошкарева слышно?

– Последние часы ничего не слышно, – сказал Серпилин, – тихо!

– Вот и я все прислушивался – со второй половины дня стало стихать. Боюсь я за Лошкарева, – тревожно сказал Зайчиков.

Серпилин промолчал. Он уже не боялся за Лошкарева: там стало так тихо, что бояться было поздно.

– Сейчас вернется комиссар, спросим, – сказал он. – Там с элеватора кое-что просматривается, он мне сказал, что хочет залезть посмотреть.

Прошло полчаса, а Шмакова все еще не было. Наконец он вернулся в черной от пота гимнастерке. Прежде чем говорить, он выпил подряд две кружки воды из стоявшего в углу землянки ведра; вода была мутная, с желтым осадком – в нее падала глина с потолка. Налив третью кружку, он снял фуражку, снял очки и вылил воду на крепкую, красную, с седой щетиной шею.

– Перегрелись за день? – полусерьезно, полушутя спросил Серпилин.

– Да, духота, годы дают себя знать, – сказал Шмаков виноватым тоном и, сев на табуретку, стал рассказывать, что немцы так ни разу и не выстрелили по элеватору за все время, пока он там был. – Вся башня в пробоинах, как сито, – объяснил он. – Наверное, думают, что мы уже сняли с нее наблюдательный пункт. Известия невеселые: направо от нас все тихо, ни выстрела, и час назад, правда, не ручаюсь за свои наблюдения, уже темнело, но бойцы подтверждают – у них глаза получше, чем у меня, – он снял, протер очки пальцами и надел их, – немцы провели из Могилева по шоссе на запад колонну пленных.

– Много ли? – спросил Зайчиков.

– Бойцы говорят, человек триста.

– Да, кончился полк Лошкарева, – сказал Зайчиков и, помолчав, повторил еще раз: – Кончился полк Лошкарева.

В землянке наступило молчание. Все трое молчали, и все трое думали об одном и том же: завтра или послезавтра должна наступить их очередь. Снаряды кончались, гранаты еще были, но им когда-нибудь придет конец, бутылок с бензином уже не было. Завтра немцы начнут новые атаки, допустим, можно продержаться еще день, а что дальше? Можно, конечно, попытаться ночью уйти, прорваться на восток, за Днепр. Но как это удастся, и удастся ли, и сколько при этом потеряют – все это наводило на тяжелые мысли. Было жаль, до слез жаль оставлять эти позиции, на которых они уже несколько дней так успешно отбивались и уничтожили почти семьдесят немецких танков. Если вылезешь из окопов, много танков не пожжешь...

У всех троих были почти одни и те же мысли, но никто не хотел заговорить первым. Серпилин ждал, что скажет командир дивизии, Зайчиков ждал, что скажет Серпилин, а Шмаков, вертя круглой седой головой, поглядывал на них обоих, считая, что ему, новому в полку человеку, о таких вещах, наверное, следует говорить в последнюю очередь. Так никто и не заговорил; все молча отложили решение вопроса до завтрашнего дня.

Среди ночи доносились звуки сильного боя за Днепром, к утру бой затих и там. Едва ли это была ночная атака немцев. Серпилин успел заметить, что они, как правило, не любят воевать по ночам. «Достаточно успевают и за день», – горько усмехнулся он своим мыслям. Скорее всего, это Юшкевич пробивался на восток с оставшимися на левом берегу частями дивизии.

Трудно было сказать, удалось ли ему это. Так или иначе, левый берег затих, все кончилось, к утру пятого дня боев полк Серпилина остался в полном одиночестве. Серпилин ждал с рассвета новых немецких атак, нисколько не сомневаясь, что они с минуты на минуту начнутся. Но прошел час и два, а немцы все не начинали. Наоборот, наблюдатели доносили, что немецкое боевое охранение за ночь исчезло, отошло в лес. Это было загадочно, но прошел еще час, и загадка объяснилась. В воздухе появилась немецкая авиация, которая за четыре предыдущих дня нанесла всего один удар, когда танки отрезали полк Серпилина от полка Лошкарева. Наверное, она была занята на других, более важных направлениях, а теперь Серпилину и его полку предстояло испытать на себе всю силу ее ударов.

Подарив полку три первых утренних часа тишины, немцы весь день вознаграждали себя за это. Ровно двенадцать часов – с девяти утра до девяти вечера – на позиции полка пикировали немецкие бомбардировщики, сменяя друг друга и ни разу больше чем на полчаса не прерывая

своей смертельной молотьбы. Тяжелые полутонные и четвертьтонные бомбы, бомбы весом в сто, пятьдесят и двадцать пять килограммов, кассеты с мелкими, сыпавшимися, как горох, трех – и двухкилограммовыми бомбами – все это с утра до вечера валилось с неба на позиции серпилинского полка. Может быть, немцы бросили и не так уж много самолетов – два или три десятка, – но они летали с какого-то совсем близкого аэродрома и работали непрерывно. Едва уходила одна девятка, как на смену ей появлялась другая и снова сыпала и сыпала свои бомбы.

Теперь было понятно, почему немцы оттянули боевое охранение; они не хотели больше тратить на полк Серпилина танки и пехоту. У них освободилась авиация, и они отвели ей роль безнаказанного убийцы, решив без потерь для себя смешать с землей полк Серпилина, а потом взять голыми руками то, что останется. Наверное, они и завтра еще не пойдут в атаку, а будут продолжать бомбить и бомбить – эта мысль страшила Серпилина. Нет ничего трудней, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. А именно этим и пахло.

Когда кончился последний налет и немцы полетели к себе ужинать и спать, позиции полка были так перепаханы падавшим с воздуха железом, что на них нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода длиной в пять – десять метров. За все время удалось сбить только один «юнкерс», а потери в полку были почти такие же, как в самый кровавый из всех дней – вчерашний. К началу боев полк насчитывал две тысячи сто человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и шестисот.

С этим неутешительным докладом Серпилин пошел в землянку к Зайчикову. Несколько раз за день он уже не рассчитывал увидеть в живых комдива: по крайней мере, десять бомб всех калибров в разное время разорвалось вокруг землянки, каким-то чудом вписав ее невредимой в этот круг смерти.

– Товарищ комдив, мое мнение – сегодня ночью пробовать прорываться, – сказал Серпилин сразу, как только вошел. Сегодня он убедился, что другого выхода нет, а будучи убежден, спешил высказаться без оглядки. – Если не прорвемся, завтра будут продолжать уничтожать нас с воздуха.

Бледный Зайчиков, у которого начала гноиться рана, сказал заметно ослабевшим со вчерашнего дня голосом, что он согласен, и они втроем с подошедшим Шмаковым стали обсуждать выбор направления для прорыва, с выходом к Днепру.

Через полчаса все было решено; владевший немецким языком Шмаков пошел к себе в землянку допросить сбросившегося с «юнкерса» бортстрелка, а Серпилин отправился по окопам. Для удобства управления людьми в ночном бою он решил свести все, что осталось в живых, в один батальон и, не теряя времени, занялся этим, тут же, в окопах, делая назначения и указывая пункты сосредоточения перед прорывом. Откладывать еще на сутки было нельзя, а ночь не растянешь – она июльская, короткая. Сведя в роту батальон Плотникова и назначив при этом Хорышева командиром взвода, Серпилин мельком взглянул на освободившегося от своей должности Синцова и приказал ему идти за собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.